

ISSN 01303600



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

6

1984

10.335/
1984/3





ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

| | |
|---|-----|
| АКАКИЙ ЦЕРЕТЕЛИ. Стихи. Перевод Наты Чхеидзе | 3 |
| ИОНА ВАКЕЛИ. Из книги «Седые вершины». Стихи. Перевод и предисловие Льва Озерова | 5 |
| ГЕОРГИЙ ЦИЦИШВИЛИ. Одолей алчность свою. Роман. Окончание. Перевод Камиллы Коринтели. | 12 |
| ВАНО ЧХИКВАДЗЕ. Стихи. Перевод Наталии Соколовской | 76 |
| РАМАЗ КОБИДЗЕ, Старая история. Рассказ. Перевод с грузинского | 81 |
| ШОТА ЧАНТЛАДЗЕ. Стихи. Перевод Гиви Орагвелидзе | 109 |
| САВВА ДАНГУЛОВ. Посольские записи. Главы из повести | 116 |

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

| | |
|-----------------------------------|-----|
| МАНАНА ГВЕТАДЗЕ. Высота | 140 |
|-----------------------------------|-----|

6

1984

ШАЛВА ПОРЧХИДЗЕ. Поэтическая палитра ма-
стера 148



ИЗ АРХИВА ПИСАТЕЛЯ

ГУРАМ АСАТИАНИ. Память 159

ИСКУССТВО

ГУБАЗ МЕГРЕЛИДЗЕ. Продолжая традиции... Рус-
ская советская драматургия в театре им.
К. Марджанишвили 176

ПУБЛИЦИСТИКА

ИГОРЬ БОГОМОЛОВ. Диалектика связи 183
НОДАР КОМАХИДЗЕ. Старые проблемы нового
правительства Турции. Обзор. 193

ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ

НИНА ТАБИДЗЕ. Радуга. Тициан Табидзе и его
друзья. Продолжение 202

ХРОНИКА 223, 224

Акакий ЦЕРТЕЛИ
(1840—1915)

●
Твое искусство — в звоне лиры,
Твой дух питает вдохновение,
И ни к чему в подлунном мире
Твои заботы и суждения.

Твой звонкий голос раздается,
Как песня жаворонка в небе,
А здесь, внизу, и нас достанет,
Чтоб о насущном печься хлебе.

Оставь то дело нам. Мы знаем
Родной страны нужды и беды,
А ты иди и с ясным солнцем,
С луной и звездами беседуй.

Так Хохоника и Тетია
Певцу советы подавали,
Но ведь один — глупец на диво,
Да и другой ушел не дале.

●
Сказать хочу, да что сказать,
Когда, окован злою силой,
Я в сердце раненом храню
Живые чувства, как в могиле.
Оковы сбросить я готов,
Не утрашусь я чужаков,
Да вот беда: как супостат,
Со мной воюет мой же брат.
Иные чувства нас влекут.
Иные разделяют взгляды,

კ. შარტასის სხ. საქ. სსრ
სახელმწიფო ბიბლიოთეკა
ბიზლიუსი, სსრ

Своим стремленьям верен я,
Он — жаждет денег иль награды.



О, родина несчастная, растишь ты поколение —
Чужое не освоив, свое предаст забвению.
Окончивши гимназию, юнцы впадают в раж,
Пешком не ступят шагу — подавай им экипаж!
У одного за ухом торчит конец пера,
Другой живет последками отцовского добра,
А кто, прельстившись шпорами, стремится в драгуны,
Кто только полицейские преследует чины.
А сколько зашибают неправдою деньги,
Тесня своих же братьев, не приведи врагу,
Позоря перед обществом достоинство свое
И счастьем почитая такое бытие.

Перевод Наты ЧХЕИДЗЕ

ИЗ КНИГИ «СЕДЫЕ ВЕРШИНЫ»

БОЛЬШЕ СЕБЯ САМОГО...

Больше себя самого
Полюби свой народ!
Пусть здравствует он
И не знает
Ни бед, ни ненастья.
Пусть полдень созреет,
Как сладко налившийся плод,
Пусть сердце в пути
Повстречает добро и участие.

Пусть вечер встречает повсюду
Привет и поклон,
Пусть путник в дороге
Встречает открытые двери.
Пусть звездами будет усеян
Родной небосклон,
И будет любовь и вниманье,
И мир, и доверье.

Пусть детство встречает
Радушный прием стариков,
Пусть в красках заката
Проявятся краски восхода.
Пусть в почве народа
Пребудет во веки веков
Испытанный, крепкий,
Выносливый корень народа.

Переводы выполнены по заказу Главной редакционной коллегии по художественному переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии.

Солнце ласковое глядит на нас,
А дожди вокруг — изумрудные.
У страны моей бесподобный час,
Нет, не час, а дни многотрудные.
Можно жить красотою высоких гор,
Что в снега одеты алмазные,
Но сегодня нам нужен не разговор
О труде, не фразы напрасные, —
Нужен труд твой — ведь ты творишь для страны,
Ведь теперь для себя стараешься.
И стоишь не один ты у крутизны —
Окружают тебя товарищи.
Нет подъемов таких, чтоб не взять нам их.

ПОЭЗИЯ — СПУТНИЦА ЖИЗНИ

Есть поэты, добровольно выбравшие «теневую» позицию. Сразу же огсворюсь: эта «теневая» позиция вовсе не означает отстраненности от жизни, от реальных вопросов современности. Тишина — их арена, одиночество — состояние души, готовящейся избывать свою энергию, творить.

К таким поэтам принадлежит Иона Вакели.

Скромный человек высоко уважаем в обществе, но — вот беда, — хвалимые всеми его качества (незаметность, деликатность, неназойливость) оказываются прекрасным поводом не замечать его долгие годы, а порой — и десятилетия... Однажды, давным-давно, выпав из «обоймы» упоминаемых имен, Иона Вакели так и остался за ее пределами. А между тем перо его не остывало, следовательно — не остывал и поэт. Он деятельно участвовал в жизни и литературе.

Ваке — деревня в Грузии, где родился поэт, стихи которого перед тобой, читатель. Имя деревни и стало его именем.

Иона Вакели — автор пяти больших поэм («Мельник», «Зелим-хан», «Арсен Джорджиашвили», «Шираки», «Поэма о советских днях») и множества лирических стихотворений. Еще в 1922 году был издан первый сборник его стихов «Зарница». В 1927 году Госиздат выпустил в свет второй сборник его стихов, а издательство «Закнига» — поэму «Мельник». В 1958 году появился сборник избранных стихов и поэм Ионы Вакели.

Лирик по складу своей души, Иона Вакели известен и как драматург, много сделавший для создания грузинской советской драматургии, для обновления национального театра.

Лирика Ионы Вакели насыщена чувствами: от искрометной радости до элегического раздумья о стесненных рамках бытия человека, от дружеского послания до



Это жизнью нашей доказано.
Одолел крутизну — несравненный миг,
Победил — и этим все сказано.
Варишь сталь или свой растишь виноград,
Направляешь по рекам грузы ли,
На груди у земли разросшийся сад,
А сад этот родина — Грузия.
Если было ты и вспомнишь подчас,
То страха в грядущем не ведаешь.
Очищенный пламень, проникнувший в нас,
Рожден был Октябрьской победою.
Будут новые песни о наших днях
Верой в наше завтра пронизаны.
То, что сегодня согревает сердца,
На знаменах наших написано.

гневной филиппики в адрес недругов, от пейзажа до песни любви.

Во всех этих проявлениях, в разнообразных состояниях души поэта наиболее постоянным является его глубокая человечность, доброжелательность, внимание к простым людям, создателям всех материальных и духовных ценностей мира. Любовь к своему Ваке, к Гурии, к Грузии вырастает у поэта в любовь ко всей Стране Советов.

Больше себя самого
Полюби свой народ!

Это обращение к современникам. Это обращение и к себе самому. Любовь к алазанским полям подкрепляет любовь поэта к земле Украины, песнь Руставели перекликается у него с думой Шевченко. Стих Ионы Вакели многоголос, он передает оттенки смысла и звучания, он зрим.

Певец труда и творчества, дружбы и любви, Иона Вакели не уходит от решения трудных проблем века, смот-

рит в глаза правде, стремится избежать суесловия. Его нередкие назидания — это голос жизненного опыта, это беседы умудренного годами мастера с идущей в жизнь молодежью. Иона Вакели показывает драматические стороны жизни, но никогда не опускается до того, чтобы запугивать ими читателя или играть на его интересе к «родимым пятнам». Его цель — внушить юноше мысль о том, что жизнь надо прожить осмысленно и достойно.

У человека есть такое право:
Презреть небытие и
встать над ним.

Одно дело осознать это право, другое дело — воплотить его в жизнь. Поэзия Ионы Вакели, на мой взгляд, — добрая спутница тех, кто душевно готов к такому воплощению, видит красоту зачинающегося дня.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

ПЕРВОЕ ЧУВСТВО



Ты, душа, возвысья над собою!
Хочется в избытке вешних сил,
Чтоб из розового в голубое
Цвет отрады той переходил.

Переливы звуков или красок,
Переход от осени к зиме,
К повседневности от старых сказок,
От сиянья полдня к полутьме.

Детское, наивное, ребячье,
Первых дней неотразимый свет
В нашем бытии так много значит
От начала до скончанья лет.

С первым чувством входит в нас отрада
Жизни, дружбы, действия, любви.
Если даже с горем нету слада,
Жизнь — отрада, так ее зови.

Первый поцелуй, как удивленье,
Первая любовь — она с тобой.
На всю жизнь протянется мгновенье,
Что зовется у людей судьбой.

И сейчас сокровище земное
Рядом — долгий, очень долгий срок,
Если ты, любовь моя, со мною,
Я не грустен и не одинок.

ЛЮБОВЬ

Была бы жизнь ужасна и постыла,
Не будь любви в ней, этой нежной силы,
Что, в тайниках душевных затаясь,
Дарует нам спасительную страсть.
Жить невозможно в мире без любви,
Без звона несказанного в крови.
Пока влюблен ты — небеса с тобой,
Влюбился — значит горд своей судьбой.

Как оленихе песнь поет олень,
Так цвет — цветку, так утру — ясный день!
Любовь — она начало всех начал.
Влюбился — снова детство ты узнал.
Влюбился — и тотчас достиг небес.
Гордись, — с тобою чудо из чудес.



ОСЕННИЕ ДНИ

О, как давно я не был здесь. Давно
Не проходил я по тропинкам детства.
Село родное! Как влечет оно
Воспоминаньем радости ушедшей.
Идут навстречу юноши. Милы.
О чем-то о своем они судачат.
А рыболовы молча у скалы
Сидят и незадачливо рыбачат.
Посмотришь ввысь — врезаясь в синеву,
Лесистые стоят под солнцем горы.
Я, размечтавшись, медленно плыву
На взгляду недоступные просторы.
На сад в упор глядят снега высот,
И ластится река к потокам света,
Скрипит арба, что медленно везет
В бочонках виноградных сладость лета.
А я... чего я жду? — пора идти
Туда, где сочные плоды созрели,
Где сон сладчайший выпью по пути
Из гроздьев, что наполняют сацнакели¹.
И молча встану возле погребка,
На вкус попробую мое чхавери²,
Чтобы потом, как жизнестойкий квеври³,
В земле я смог укрыться на века.

¹ Давильня, большой деревянный чан, в котором давят виноградные гроздья.

² Сорт винограда, название вина.

³ Глиняный сосуд, зарытый в землю, в нем хранится вино.

Место где это, то, о котором пою,
Место, где встретил легкого ветра струю.
Синяя птица утром ко мне прилетела,
Голосом сладким песню мне пела свою.
Я ежедневно являлся туда неспроста.
Что так далеко? Наверно, она, красота.
Синяя птица дивные песни слагала —
Молодость длилась, не исчезала мечта.
Дуб многолетний здесь надо мной шелестел.
Воздух был чист здесь, травы — подобие стрел.
Дерево это печали мои разведало,
Радость сулило — мысли достойный удел.
Здесь созревала и крепла душа моя.
Здесь мне мерцал между листьев смысл бытия.
Здесь одиночество мне не казалось бедою
И не звало мое сердце в иные края.
Где же сейчас моей юности легкая тень?
Где он, мое утешенье, задумчивый день?
Где одиночество, полное лепета листьев,
Шелест травы и погожего вечера лень?
Синяя птица, уже не поет мне она...
С птицей исчезла синей надежды весна.
Ранние росы, где вы? В одиночестве полном
Дуб мой заветный стоит. Привет, старина!
Разве виденьем могу я назвать то, чем жил,
Юность, во славу которой я песни сложил?

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

Бессмысленна и безобразна смерть,
Ее пути темны и неизвестны,
Нас жизнь подчас приводит к краю бездны,
Что разделяет небеса и твердь.

Что значит страх? Ведь он преодолим.
Что значит холод? Есть над ним управа.
У человека есть такое право:
Презреть небытие и встать над ним.

I. ЧЕМ МЫ ЖИВЫ

Чем мы, люди, живы в мире этом?
Крохою добра, улыбкой, тем,
Что любовь свою нежданно встретим
Не на час, на день, а насовсем.
Свыклись мы с мечтою дерзновенной
Пополам с тоской и суетой.
И узнать хотим мы непременно:
Под какой мы родились звездой...
Как ее узнать? Сперва попробуй
Разобраться в хитрости дорог.
Если зол — не наливайся злобой,
А скажи себе: «Да, я бы смог!»
Смог бы с места сдвинуть всю планету,
Окрыленный страстью... Так шагай
К радости и юности, и свету, —
Чистотою душу наполняй!

III. НЕДОЛГО МЫ ЖИВЕМ...

Иной клянет весь белый свет
И дни проводит, как на тризне,
И до скончанья долгих лет
Живет, не зная вкуса жизни.
Жизнь хороша. Всегда лови
Существованья добрый гений.
Что может быть светлей любви,
Ее восторженных мгновений!
Сказавший «жизнь» сказал «любовь»,
Сказавший «миг» отметил «вечность»,
Влюбленный обретает вновь
И доброту, и человечность.
Влюблен!.. И все вокруг видней,
И то проснулось, что дремало.
Нам для большой любви так мало
Отпущено погожих дней!



Георгий ЦИЦИШВИЛИ

ОДОЛЕЙ АЛЧНОСТЬ СВОЮ

•
Р о м а н
•

ЗНАЮ, ты сейчас скажешь, а откуда, мол, берем. Производителей заинтересовываем, вот откуда! Из-за этой заинтересованности они больше леса производят, чем им по плану положено. Они и план выполняют, и то, что мы просим, тоже выполняют.

Вот это и называется частная инициатива! Главное — заинтересованность. Если нет заинтересованности — жизнь не в жизнь. Нет заинтересованности — и дело не делается, и страна строиться не будет, и народ недоволен будет. Суета будет, болтовня, хвастовство будет, передовицы в газетах будут, а результата не будет. Понял теперь?..

Вот поди и говори после этого, что мы вредители, комбинаторы, рвачи. Что, правда это? Нет, конечно. Наоборот, дорогой начальник, совсем наоборот! Мы людям даем возможность нормально жить и государству пользу приносим, все делаем для того, чтобы жизнь не тлела, а ключом била, и

Окончание. Начало см. в
№№ 4, 5.

Перевод Камиллы КОРИНТЭЛИ

вкусы повышаем, и торговлю оживляем, потому что без свободной торговли не видать нам ни социализма, ни коммунизма.

Вот Вахтанг Петрович все это понимает. Он человек опытный, знает жизнь, и потому правильную линию ведет. Так оно, начальник, инициативу поддерживать нужно, коли хочешь, чтобы дело делалось. Что с того, если два-три человека чуть-чуть руки погреют, больше других наживутся? А как ты хочешь? Когда другие спят или кутят, я только о деле думаю, без сна, без отдыха работаю, как вол. Разве не положено мне хоть какое-то вознаграждение? Коли нет — и я работать так не стану, буду тоже баклуши бить да у печки греться. А если я не буду работать, ты не будешь работать, он не будет работать, дело само собой, что ли, сделается?

Работой, дорогой мой начальник, я называю не то, что некоторые: ходят на службу и стулья протирают. Такие и время зря убивают, и зарплату зря получают. Нет, работа это то, что деньги делает. Когда бы делу одно сидение или движение помогало, тогда б каждый, кто сиднем сидит или без толку сует, Давидом Строителем стал. Пойми ты, наконец, где собака зарыта, пойми! Жизнь — это деньги, и радость тоже — деньги, черт побери!

...Потом, милый мой, надо же немножко и о нашем населении подумать. Если все в Ташкент и Дагестан будут отправлять, что же здесь останется? Вот такие, как мы с тобой, то есть такие инициативные, предприимчивые люди, как мы, радеют о том, чтобы здесь, на месте, достаток создавался. Разве это не дело? Разве это плохо? Разве это не нужно? Когда достаток будет, люди смогут детей растить как следует, детям-то и питание нужно хорошее, и воспитание, и образование, современному ребенку нужны и музыка, и языки, и танцы, и многое другое, чего у нас с тобой не было. Вот тогда дети вырастут полноценные, и поколение пойдет совсем другое!

Вот, например, твой сын языки иностранные знает? Знает. А мои? Мои — нет. Значит, они немые. А что создаст в жизни немой? Ничего! Не зря говорится: сколько человек разных языков знает — столько раз он человек! Мудрая пословица. А почему мои девочки

немые? Потому что в нищете росли. Когда они маленькие были, я в Средней Азии чуть не сгинул. Чем я мог им оттуда помочь? Да, в старину нищете росли, но это другое, тогда трудная была жизнь, плохая. Бедных было больше, чем богатых. А теперь? Теперь наоборот, поэтому, если ребенок в нищете живет, он обязательно ущербным вырастет, так как в душе страдать будет и от этого станет нервным, завистливым, озлобленным. Теперь другие времена, и запросы другие, другие требования. Требования средства нужны, а средства — добыть надо.

Понял, как обстоят нынче дела? То-то. Иные все кричат — план, план, выполним план! Да ведь то, что по плану будет выполнено, все заберут, унесут, а ты на бобах останешься. Вот я и говорю: пожалуйста, то, что по плану — забирайте, но погодите, дайте мне возможность что-то сверх плана сделать, чтобы у нас, на месте осталось, пускай люди хоть что-нибудь выгадают, пусть хоть какую ни есть пользу имеют!

Теперь ты мне скажи, какая сторона правильно рассуждает, я и мне подобные, или те, кто нас не понимает?..

В такие минуты Годердзи старался сконцентрировать всю свою пронизательность и трезвость, чтобы верно оценить эти речи и, как любил говорить Исак, «разобраться в ситуации», но это было не таким-то легким делом.

То, что жизнь трудна и сложна, Годердзи великолепно знал. Он на своей шкуре испытал мощь ее когтей. Но тогда он просто остерегался — и этого было достаточно, а теперь самоустранение от общих дел губительно. Теперь настали такие времена, что от жизни, от ее требований, от народа никуда не спрячешься, а спрячешься — считай, сам себя похоронил. Годердзи хорошо помнил слова Каколы: лучше окатиться в львиных лапах, чем в могиле.

А «проклятый Исак», как Годердзи прозвал того в душе, продолжал его смущать, искушать, житья не давал. Ведь это Исак заставил Годердзи ступить на скользкую тропку, сам его в темные дела втравил, а теперь, видите ли, требует ответа на такие вопросы, о которых Годердзи сроду не помышлял.

Чутьем-то он понимал, что дело обстоит не сов-

сем так, как изображает Исак, однако кое в чем проныра-бухгалтер, по-видимому, был прав. Действительно, если людям пользу приносишь и никому вреда не причиняешь, ни государству, ни народу, почему это плохо?

Чем больше Годердзи размышлял над этими проблемами, чем больше «разбирался в ситуации» и «смотрел в корень», тем больше запутывался. Противоречивые мысли и соображения, точно оводы, кружили в его голове и жалили, жалили...

Когда он впадал в такое состояние, то после долгих терзаний обычно приходил к одному и тому же решению: «Что есть, есть. Пока пусть все идет так, а дальше дело покажет».

Время бежало, вагоны по-прежнему вовремя — день в день — прибывали на станцию Самеба.

Исак по-прежнему бойко шелкал на счетах, подводил итоги, выводил сальдо, клал на стол управляющему базой пакеты, завернутые в газетную бумагу.

И Годердзи по-прежнему часть этих пакетов относил домой, а часть вручал Вахтангу Петровичу.

Все шло по однажды заведенному обычаю и вместе с малой толикой страха приносило много радости.

Время от времени, когда этот страх одолевал управляющего базой и, завладевая всем его существом, заставлял тревожно биться его сердце, он твердо решал уйти с базы.

«Выход один, — думал в такие минуты Годердзи, — я должен бросить эту проклятую базу. Что было, было! А теперь буду просить Вахтанга Петровича перевести меня куда-нибудь на другую работу. Пусть она будет тяжелой, изнуряющей, все это я выдержу, но вот чтобы страха на меня не нагоняла; оказывается, хуже страха ничего на свете нет. Он так гложет человека, что уже ничего не мило, ни деньги, ни состояние, ни почет и ни положение. Нет, здесь оставаться мне больше нельзя. Да, что и говорить, место золотое, но — остановись, Годердзи Зенклишвили, одолей алчность свою, и ты спасешься! Ежели нет, не миновать тебе беды...»

Такие дурные мысли все чаще и чаще посещали его, и главным образом по ночам.

Глухая тишина и глубокий мрак, собачий отдаленный грохот проходящих поездов разбивали сон, наполняли тревогой сердце, туманили разум.

Но как только занимался рассвет и небеса, постепенно светлея, окрашивались в голубиный цвет, мятущийся дух Годердзи обретал покой. И от ночных страхов оставался лишь неприятный осадок. Давешние решения казались сумбурными сновидениями и рассеивались, как ночной мрак с лучами солнца.

Днем тот животный страх, одолевавший его по ночам, уступал место бодрости, деятельности, и Годердзи глядел в будущее с уверенностью и надеждой. Какой-то таинственный голос, который он считал добрым советчиком, ободряюще нашептывал на ухо:

«Чего ты боишься, ты, бывалый человек, старый плотогон, непобедимый палаван? Разве ты не знаешь, что страх ведет к падению? Зачем же ты падаешь заранее? Вступил в бой — поборись сперва, собачья ты морда, поборись, авось и победишь?! Чего ты боишься? Кого боишься? Пока тебе нечего бояться. Ничего тревожного пока не видать. А такое доходное место разве еще найдешь? Чего ради ты должен уходить? Кто по своей воле бросал золотую жилу, и почему ты должен все бросить и отступить?»

Годердзи внимал этому ласкающему сердце голосу и откладывал выполнение своих намерений на более отдаленные времена.

Его самого удивляло собственное упорство. Состояние он накопил порядочное, к тайнику, что был у Малало на чердаке, почитай, еще пять таких прибавилось — в винограднике, в марани, в подвале, в старой заброшенной уборной, стоявшей на краю огорода, в стене курятника, — и все-таки он не решался покинуть опасный, но щедрый источник дохода.

Казалось, что может быть проще — написать одно маленькое заявление с просьбой перевести его на другую работу. Тогда бы все с легкостью встало на свои места. Но увы! — вздыхал Годердзи — сердце человеческое и вправду жадное и ненасытное!..

Не однажды размышлял он над пословицей, которую любил повторять его покойный тесть Какола:

«Встретиться с дэвом легко, разойтись — трудно». Деньги, — говаривал Какола, — это такой дэв, от которого, если встретился, уже не уйдешь. Оказыва-
ется, как он был прав, Какола, царствие ему небесное!..

А денег у Годердзи было — как лужги от семечек, денег куры не клевали.

За последние четыре года особенно много их набралось. Копились деньги, а как же, ведь он ни на какие приобретения их не тратил, а на жизнь у них не так уж и много уходило. Единственный расход был — содержать Малхаза, но этот непонятный парень оказался таким прижимистым, что на кружку пива не расщедривался для своих товарищей.

То, что Годердзи большие деньги имеет, ни для кого не было тайной. В Самеба уже не шушукались, открыто говорили о его громадном состоянии, это и Малхаз хорошо знал.

И вот однажды, осенним дождливым днем, когда прогнившая dranka не могла более сдерживать натиск дождя и в комнатухах годердзиева дома на полу образовались лужи, а Малало поспешно начала подставлять под течь лоханки, тазы и кастрюли, Малхаз, находившийся в ту пору в деревне, не выдержал:

— Ты, папа, точно Соломон Исакич...

— Какой еще Соломон? — не понял Годердзи. — Тот, которого Мудрым звали, что ли?

— Нет, Соломон Меджгануашвили.

— А это еще кто?

— Купец был такой. Деньги копить умел, а тратить их не хотел, вернее, и не знал, как их использовать.

Горькие слова сына точно плетью огрели отца. Он ничего тогда не сказал, будто и не понял притчи, но едва наступила весна, принялся за строительство большого дома.

Вообще-то было это странно и удивительно: если раньше Годердзи только и старался как-нибудь скрыть свои деньги, чтобы вокруг не судачили, теперь он выставлял их на всеобщее обозрение.

Порой управляющий базой самому себе дивился,

никак не мог понять этого своего теперешнего поведения, однако иначе поступать он уже не мог.

Решение строить дом возникло у Годердзи далеко не сразу. Много и долго он думал, размышлял, голову ломал, под конец махнул рукой, — была не была, до каких же пор в конуре ютиться, люди новые дома построили, живут припеваючи, и никто их ни о чем не спрашивает, чего это вдруг станут выспрашивать.

Как будто и впрямь успокоился Зенклишвили и с таким жаром взялся за дело, что за год отстроил громадный домище, а поздней осенью следующего года, в древний праздник Гиоргоба — 23 ноября — отметил новоселье.

Он и сам не ожидал, что строительство так его захватит. Бывало, целыми неделями не ходил на работу, занятый домом.

В таких случаях управляющего заменял бухгалтер. Исака нисколько не тяготила лишняя нагрузка.

— Брат для брата в черный день, — повторял он излюбленную поговорку. — Ты, начальник, делай свое дело, а на базе все будет в порядке, не волнуйся, я здесь! Пусть умрет твой Исак, если что-нибудь испортится!

И Годердзи строил свой дворец. В два этажа — вверх шесть комнат, внизу четыре.

С собственным паровым отоплением.

С марани и подвалом.

С огромной застекленной галереей.

С железными узорными балконами, мозаичными лестницами.

С двумя уборными и огромной ванной комнатой, где был сооружен бассейн...

Проект дома он заказал именитому архитектору, бывшему односельчанину, который теперь проживал в Тбилиси в роскошном собственном особняке и был известен тем, что мог «пробить» в горисполкоме любой проект, конечно, при условии, что его самого соответственно улажат.

На дом пошло полтора ста тысяч штук кирпича; на крышу — две тонны оцинкованной жести, а уж лесоматериала и цемента — несметное количество. Кафельные и метлахские плиты, сантехника — это все было импортное.

На расходы Годердзи не скупился, перед цепой не стоял, сил не щадил. Двери и оконные рамы были изготовлены в Тбилиси, бронзовые замки и ручки, тоже на заказ, в Рустави, за паркетом человека в Майкоп посылал, известь, выжженную особо, на углях, раздобыл в пригороде Тбилиси — Дампало, для внутренней отделки комнат привез известную бригаду маляров-альфрейщиков под началом художника Мизрахи.

Что правда — правда: дом получился великолепный, как говорится, завистливому глазу не показать.

Откуда только не приходили его смотреть, но Годердзи и Малало далеко не каждого удостаивали чести — только избранные могли попасть в хоромы Зекиливили. Прочим оставалось издали созерцать гордо возвышающееся на холме большое здание с просторными окнами, чисто оштукатуренное и выбеленное, с набрызгом мраморной крошки.

На внутреннюю отделку дома, меблировку и убранство ушло времени больше, чем на строительство. Многое заново переделывалось, да не один раз, а дважды, а то и трижды.

Годердзи так спешил, будто у него оставались считанные дни жизни и он обязательно должен был успеть закончить дом.

Мебель достал самую что ни есть модную и дорогую. Огромных денег это ему стоило. И так обставил весь дом югославскими, арабскими, румынскими, венгерскими и немецкими гарнитурами, что его апартаменты выглядели как хороший мебельный салон.

Эта мебель доканывала Малало: все дни сновала она по комнатам и то смахивала пыль, то полировала блестящие поверхности, то протирала стекла. Мысли ее были направлены лишь на то, чтобы, не дай бог, не поцарапать полировку, ничего не поломать, не разбить, ничего не повредить. Таких забот и таких хлопот она в жизни не знала. У ее отца Каколы все было добротно, но просто: вся семья спала на одной огромной тахте, ели из глазурованных глиняных мисок, пили из глиняных же чашек, а мебель была из дуба, прокопченного очажным дымом, — такая основательная, крепкая, что и ножом не поцарапаешь.

— Убивает меня уход за этими вещами! Если я умру, только через них, — жаловалась хозяйка нового дома, в изнеможении опускаясь в мягкое кресло, — что такое богатство! Не имеешь — и все мечтаешь иметь, а имеешь — одни заботы от него», — все чаще рассуждала она про себя.

С уборкой и уходом за домом она как-нибудь и справлялась бы, но приемы гостей оказались куда более тяжелым делом...

А гости в их доме не только не убывали, они являлись все чаще, и приемы делались все многочисленнее. Начиная с того грандиозного кутежа, которым Годердзи отпраздновал новоселье, созвав уйму народу, всех подряд, кого попало, гости в семье Зенклишвили не переводились.

Поначалу Годердзи доставляло удовольствие принимать именитых гостей. Когда в район приезжала какая-либо видная персона и Вахтанг Петрович считал необходимым почтить эту персону кутежом, стол накрывался обязательно у Зенклишвили. Годердзи это очень льстило и в душе он даже радовался приезду высоких особ.

«Лучше них в Самеба никто не умеет принимать людей», — говаривал в таких случаях первый секретарь.

Роскошное убранство, сервированный фарфором, хрусталем и серебром стол, обилие и разнообразие яств, сверкающие чешские люстры — все это производило неотразимое впечатление на гостей.

— Актив нашего района, — самодовольно улыбался Вахтанг Петрович, представляя Зенклишвили.

Однако нескончаемые кутежи вскоре утомили супругов. Особенно страдала от них Малало. Она не привыкла к этому. Правда, семья Шавдатуашвили жила зажиточно, однако гости в их доме были большой редкостью. Только в большие престольные праздники — на рождество и на пасху, на Мариамоба, да еще на Новый год у Шавдатуашвили устраивались званые трапезы. А приглашалось-то всего несколько человек: семейство Сосо Магалашвили, священник Окропиридзе да именитый купец Кипиани с супругой. Вот и все гости.

Воспитанную в прижимистой по-крестьянски семье

Малало ужасало уже то, что в доме резалось столько цыплят, индюков, барашков, поросят, переводилось столько вина, готовилось такое несметное количество разнообразнейших блюд для угощения бесконечных гостей, почти всегда незнакомых. Но главная беда была в том, что на второй или третий день большинство яств выбрасывалось или, в лучшем случае, раздавалось нуждающимся соседям.

— Святая дева Мария! — восклицала Малало, воздевая руки к небу. — Что творится, что делается! Готовим на целый полк, столько добра изводим, а потом чуть не целиком выбрасываем! Если б мой бедный отец хоть одним глазком глянул на все это безобразие, он в гробу бы перевернулся!..

Она на всю жизнь запомнила, как, будучи уже девушкой на выданье, получила от отца нагоняй.

«Ты что же это, — сказал разгневанный Какола, — и убрать со стола не умеешь? Где слыхано такой большой кусок хлеба выкидывать! Хлеб не предмет, а тоже существо, и существо божье, а ты норовишь свиньям да собакам его выбросить, когда у них свой корм есть! Чтoб такого я больше не видел».

Беду Малало усугубляло еще и то, что Вахтаг Петрович, войдя в азарт, обычно не знал удержу, и потому пиры у Зенклишвили нередко затягивались до рассвета. После каждого такого бдения у Малало опухали ноги и она с трудом передвигалась.

«Если так будет продолжаться, они, проклятые, совсем ее изведут», — думал не на шутку озабоченный Годердзи.

В конце концов он не выдержал и открыл душу заведующему отделом агитации и пропаганды райкома Бежико Цквинидзе.

— А ты как хочешь? — чуть не на полуслове прервал его Бежико.

— Что значит «как хочу!» — взорвался Годердзи. — Не повинность же это, в самом деле, жена моя совсем уже с ног валится!..

— А зачем ей с ног валиться? Пусть помощниц себе наймет, разве мало в Самеба чистоплотных и

проворных женщин? Или вам лишних двух рублей жалко?

— Да пойми ты, милый человек, мне не денег жалко, устали мы, устали! Из сил выбились. Ну-ка, попробуй, каково это!

— А ты как хочешь? — сурово нахмурившись, повторил Бежико и многозначительно уставился на Годердзи. — Актив — ты. Или, может быть, мы ошиблись и зря тебя активом считаем? Вахтаг Петрович на тебя надеется, а это ценить надо!.. Почетных гостей он не может куда попало таскать. От них благополучие района зависит... и, между прочим, твое тоже, — Бежико хитро подмигнул Годердзи. — Иной раз такие разговоры ведутся, никто не должен слышать, государственные дела в тайне должны храниться, а тебе все доверяют, это ценить надо! Что же касается маленьких неудобств и хлопот, их терпеть надо.

— Да, когда не тебя касается, хорошо рассуждать о терпении... а ну, посиди в моей шкуре, посмотрю я на тебя...

— Я работник райкома, твоя шкура мне не подходит. А ты управляющий базой, и семья у тебя другая, и в дом к тебе не стыдно людей привести, и доходы у тебя другие. Мы-то твой заработок не считаем. Сам ведь знаешь, что у тебя средств куда больше, чем у нас, ты богаче всех нас, вместе взятых, и откуда это богатство идет, мы тоже знаем. Нет, я не в укор говорю, и не завидую, и не спрашиваю, сколько и чего у тебя есть, не мое это дело, но и ты должен нам навстречу пойти. А как же ты себе представляешь? Такой доход имеешь и не хочешь малость раскошелиться? Разве за все это время, как ты этой своей базой ворочаешь, кто-нибудь тебя побеспокоил, скажем, ОБХС, милиция или прокуратура? А ведь могли?.. Заметь ты это себе, друг любезный. Коли хочешь, чтоб тебя никто не беспокоил, никто не допытывался, что да как, то и ты должен ради нас малость попотеть. А как же ты хочешь, или уже не желаешь родному району и его руководству послужить?

Да, такой вот разговор у них состоялся...

Как видно, Бежико тут же нафискалил Вахтагу Петровичу, и в первый же раз, когда после беседы с

Бежико у Годердзи устраивался кутеж, в помощь Малалю были присланы две райкомовские сотрудницы.

Малало это еще более обеспокоило. Она боялась, как бы кокетливые, неопытные и небрежные девочки не разбили дорогую фарфоровую посуду и старинные хрустальные бокалы (сама-то тряслась над ними, ведь за какие деньги покупалось!), а кроме того, не хотела, чтобы посторонний глаз заглядывал в ее семью. Покойница мать, царствие ей небесное, только и твердила: не то что посторонних, а даже не каждого близкого можно в дом впускать. Завистливый глаз все высмотрит, все пометит и — развеет достаток. Завистливый глаз — беда для очага.

Свои опасения Малало поведала мужу. И что же? Годердзи-то прислушался к ее словам, и очень даже постарался не впускать в дом расфуфыренных девочек этих, райкомовских-то, однако ничего не помогло, с одной стороны, Бежико заупрямился (он и был верховным организатором пиршеств), с другой — сами девушки оказались до того настырными, что провели-таки свое. С улыбочками, с шутками-прибаутками влезли в дом Зенклишвили, втерлись, и захлопотали, засуетились, точно свои люди, домашние. Малало так ничего и не добила, непрошеные помощницы от нее не отставали, но, сказать правду, во многом облегчили ей труд.

Малало постепенно привыкла к ним. После двух-трех кутежей она так ими командовала, точно опытный командир — солдатами.

Хорошо еще, кутежи в последнее время значительно поределли — по непонятным причинам охоты к ним у Вахтанга Петровича заметно поубавилось.

С той поры, как Зенклишвили перебрались в новый дом, наезды Малхаза в Самеба участились.

Годердзи никак не мог взять в толк, что потянуло его сына к родному очагу: устал ли он от своей одинокой жизни, стосковался ли по заботе, материнскому теплу, привлекал ли его новый дом, либо существовала еще какая-то причина его частых посещений.

Как бы там ни было, а каждую субботу и воскре-

сень Малхаз, как правило, проводил с родителями, чего не делал с самого поступления в университет.

Обрадованные приятной переменной, родители не менее стремились разгадать загадку, но не могли, а спрашивать не с руки было.

Особенно усердствовала Малало. Она все стремилась остаться с сыном наедине и обиняком расспросить его, разведать наконец, что же такое происходит.

Но заглянуть в душу Малхаза было не так-то просто.

Этот красивый, ладный парень с расчесанными на косой пробор густыми волосами и длинными ресницами, из-под которых глядели медовые материнские глаза, только не по-матерински жестко, был на редкость замкнутым и скрытным.

Всегда серьезный, неторопливый и сдержанный, Малхаз даже у собственных родителей вызывал такое почтение, смешанное с робостью. «В кого только он уродился, сукин сын», — любовно думал Годердзи, глядя на размеренно шагавшего сына, так и пышущего чувством собственного достоинства и сознанием своей значительности.

Малхаз ходил по узким тротуарам главной улицы Самеба, чуть склонив набок голову, покачивая широкими плечами. Здраваться-то он со всеми здоровался, однако сам с приветствием не торопился: зазорным, что ли, считал первым приветствовать встречного, только отвечал на приветствие, и то, кажется, лишь ради вежливости.

Эго коробило и Годердзи, и Малало. Оба они, люди патриархальные, хорошо помнили родительский завет, хранивший древний народный обычай: старайся, чтобы встречный не опередил тебя с приветствием. Что правда — правда, супругов в том никто не мог упрекнуть — ни стар, ни млад.

А этот молодец-красавец уж издали глядел на тебя своими немигающими, чуть печальными глазами, таившими то ли осуждение, то ли укоризну, и выжидал, пока ты поздороваешься первым.

«В кого же он пошел, мерзавец», — недоумевал Годердзи, однако вопрос этот ничего, кроме тайных опасений и какого-то неясного смятения, у него не вызывал.

Шли годы, и любовь во взгляде отца все чаще уступала место удивлению, настороженному ожиданию того, что «мальчик» изменится. Годердзи мечтал, что бы сын смягчился, оттаял, чтобы не было у него такого жесткого взгляда, чтобы не вышагивал он с такой вызывающей гордостью по селу и не был бы таким далеким и колючим.

Что бы дал Годердзи за одну открытую, сердечную улыбку сына, за одну простую его просьбу, но Малхаз, будто назло, никогда ни о чем его не просил. Принимать все принимал — молча, как должное, но просить ничего не просил.

Самым неприятным для Годердзи и чуждым ему было то, что сын оказался чересчур рассудочным, все слишком уж тщательно взвешивал, обдумывал, никогда еще ничего не сделал сгоряча. Десять раз измерит, прежде чем примет пустячное решение.

Подсознательно отец даже как бы побаивался сына, а временами просто негодовал на него. Он подзревал его в какой-то странной наглости, и это было для него невыносимо.

...И этот кизялового цвета «москвич» Малхаз принял так, словно бы милость оказывал...

Холодной декабрьской ночью Годердзи, крадучись, точно вор, пробрался в собственный погреб, изнутри запер на засов двустворчатую железную дверь, из бесчисленного множества глиняных кувяки, горшков, кувшинов выбрал довольно объемистый сосуд, вычерпал уксус, который в нем был, потом засучил рукав, извлек со дна тщательно запакованную в лист целлофана, заклеенную водонепроницаемым клеем толстую кипу денег. Он отсчитал несколько пачек из этой кипы, оставшиеся снова запаковал тем же образом, заклеил и, опустив в сосуд, налил туда уксус.

С того дня едва ли прошло две недели, и вот, в канун Нового года шофер заготовительной конторы, бойкий на язык Шадиман, въехал на новехоньком «москвиче» в просторный, окруженный высоким деревянным забором двор Зенклишвили и, оглушительно сигналя, заорал вышедшей на балкон Малало:

— Радуйся, кров, лопни, вражье сердце! Получай,

мамаша, новогодний подарок от дорогого супруга — и просигналил еще разок.

Малалю, в накиннутой на плечи белой шерстяной, домашней вязки, шали, заметно растерянная стояла на балконе и в голове ее вертелась одна и та же мысль: «Что это он наделал, сумасшедший? А если вдруг явятся и спросят, откуда, мол, на какие средства?..»

К вечеру, когда Годердзи, основательно под хмельком, тяжело дыша, неторопливо вошел на балкон, Малалю не выдержала, так и выпалила, что думала.

Годердзи приостановился, медленно обернулся, проговорил:

— Коли до сих пор не спрашивали, чего сейчас загорятся? Или не знают, что я, ежели пожелаю, самое меньшее, десять таких игрушек купить могу?.. Что же мне делать, я хочу мальчика порадовать. — И с сердцем добавил: — А ну их к дьяволу, всех, кто меня спрашивать станет, если очень заинтересуются, и им одну куплю и заткну глотку. Такая машина, почитай, в каждом дворе стоит, а мы что, хуже других?

Зенклишвили говорил с несвойственной ему горячностью, по всему видно было, что он и сам не однажды об этом думал и поэтому сейчас словно бы сам себя убеждал.

— Ох, Годердзи, не случилось бы беды...

— Ты будь покойна. Сама не накликай беды.

— Обоих вас гордыня заела, и отца, и сына, — рассерженная Малалю торопливо вошла в комнату, хлопнув дверью и даже не взглянув на «москвич».

Годердзи облокотился на перила и углубился в размышления.

Вот-вот вернется Малхаз. Годердзи не терпелось посмотреть, как-то он встретит отцовский подарок.

Стукнула калитка — конечно, это Малхаз. Отец хорошо знал его манеру: резко рванет калитку, натянув пружину до отказа, резко же отпустит, и железная дверца хлопает так, точно пушка выстрелила.

Малхаз уже от ворот заметил поблескивающую свежей краской машину кизилового цвета, на никелированных частях которой еще желтел толстый слой тавота.

Годердзи, затаив дыхание, наблюдал за сыном.

Малхаз не спеша обошел машину кругом, провел

рукой по блестящему капоту, потом оборотился к балкону и посмотрел на отца. Тот, слегка прищурившись, смотрел в свою очередь на него.

— Славная машина, — этак невзначай проговорил Малхаз.

— Гм, и только? — спросил отец, и радостная улыбка застыла у него на лице.

— Остальное выясится после, когда она начнет работать.

— Ах, когда начнет работать? — подчеркнуто повторил отец.

— Ну да, отец, все проявляется в работе, разве ж ты этого не знаешь?

— Да, да, конечно, — поспешно согласился Годердзи и, не дожидаясь, пока сын поднимется на балкон, как-то сразу сникнув, вошел в комнату.

Обедали молча, точно рассорившись друг с другом.

Отец все ждал, что сын поблагодарит его, подарит ему хоть немного тепла, но — тщетно: Малхаз был занят едой, ел сосредоточенно и деловито и, по всей видимости, заговаривать не собирался.

Малалю не выдержала этой напряженной тишины, быстро убрала со стола и сразу же спустилась в подвал. Это была многолетняя привычка: когда ее что-то беспокоило и тревожило, она уединялась в подвале, чтобы в одиночестве отдалась своим мыслям. Подвал у них был такой светлый, такой чистый и спокойный, что Малалю предпочитала его верхним уютно-парадным комнатам.

Окончательно потеряв надежду на то, что сын побеседует с ним за обедом, Годердзи, раздосадованный и понурый, тяжело поднялся и направился в спальню.

— Папа! — окликнул его Малхаз.

— Ну, что скажешь? — не оборачиваясь, отозвался Годердзи.

— Ты, вероятно, воображаешь, что я теперь буду носиться на этой машине взад и вперед по пыльным самебским улицам, распугивая местных старух?

— Как угодно, твое дело, не носись и никого не распугивай.

— Так для чего же ты ее купил? Кстати, а сколько все-таки она стоит?

— Дорого стоит. Нужно будет — узнать.

— По-моему, было бы лучше, если бы ты подарил эту машину Сандро Туреладзе...

— Кому?! — Годердзи, как ужаленный, обернулся к сыну, не в силах скрыть изумления.

— Заведующему отделом просвещения райисполкома, — четко выговаривая каждое слово, невозмутимо пояснил сын.

— Это еще почему, разве мы ему что-нибудь задолжали?

— Ты же видишь, четвертый месяц он меня за нос водит, каждый раз обещает устроить учителем в школу и посмеивается. А когда я говорю ему, до каких же пор мне без работы болтаться, он со своей тупой ухмылочкой отвечает, мол, твоему отцу не в тягость тебя содержать, он от этого не обеднеет, а если малость поднатужится, ничего от него не убудет. То, что ты меня содержишь, это, конечно, присказка, а главное, он намекает на то, что тебе следует раскошелиться...

Годердзи стоял, оторопев, и осмысливал слова сына.

Действительно, как ему до сих пор не пришла в голову эта мысль?

Видно, он настолько был уверен в способностях и сноровке Малхаза, в том, что тот без чужой помощи получит все, чего вполне заслуживает, и все свои дела сам уладит, сам со всем справится, что даже не подумал посоветовать ему, а он, бедняга, оказывается, нуждается в помощи!..

Это была первая просьба Малхаза. Вернее, и просьба и в то же время не просьба, а вроде бы совет, но что совет был уместный и умный, Годердзи смекнул сразу.

Нет, не такая уж овечка Малхаз, он, оказывается, хорошо знает, что к чему в этой жизни. Правда, он не говорлив, слово молвит редко, да зато метко.

— Хорошо, сын мой, — ласково проговорил Годердзи, — как ты хочешь, так я и сделаю, сегодня же отправлю этому прохвосту машину, авось и вправду поможет...

У Годердзи непонятно почему потеплело на сердце.

В ту же ночь «москвич» кизилового цвета переселился в другой двор, огороженный таким же высоким забором, и переменял своего владельца.

Не прошло и недели после этого «переселения», как Малхаза вызвали в самоебское РОНО и назначили преподавателем истории в первую самоебскую школу.

Годердзи даже не предполагал, что сын его окажется таким преданным своему делу, таким работающим и энергичным. Преподавание до такой степени увлекло его, что он ни о чем другом и не помнил.

Надо сказать, что молодой Зенклишвили обладал столь противоречивыми чертами и свойствами характера, что вызывал удивление у каждого, кто его знал.

Трудно было представить, что в одном человеке сочетаются столь противоположные стороны натуры.

Не менее удивительно было, что этот вечно пасмурный, молчаливый, замкнутый парень, склонный к уединению и размышлению, с большой охотой участвует в кутежах, устраиваемых в отчем доме.

Годердзи прекрасно видел, что его сын стремится привлечь к себе внимание Вахтанга Петровича. Во время пиров Малхаз всегда крутился возле секретаря и место за столом выбирал тоже поближе к нему. Но сын тщательно скрывал это свое тяготение и делал вид, что районное начальство его нисколько не интересуется. Он, видимо, и не подозревал, что отец давно все заметил.

Поведение Малхаза крайне удивляло Годердзи, обостряло его подозрительность и настороженность.

«Что ему надо, интересно знать? — размышлял он. — И отчего он не говорит мне, если ему что-то нужно, ведь мне проще будет это сделать!».

После своего странного открытия Годердзи еще более усилил тайное наблюдение за «единственным наследником» (как шутливо называл Малхаза), который так не походил на своих деревенских сверстников. Мечты и стремления сына отец никак не мог постичь. Поэтому, где бы Годердзи ни находился и

чем бы ни был занят, один глаз и одно ухо его были прикованы к сыну.

Интерес к деревне у Малхаза все более и более усиливался, вероятно еще и потому, что он не смог закрепиться в городе.

Правда, он с отличием окончил университет, однако с поступлением в аспирантуру дело не выгорело: в первый год он сдавал не по специальности и ему предпочли другого, по профилю.

Так разбилась его главная мечта.

После того он пытался устроиться лаборантом на кафедру истории, но и тут его постигла неудача — вакантное место заняла профессорская дочка. Теперь все надежды на устройство в аспирантуру он перенес на следующий год.

И вот, как раз в ту пору он познакомился с Вахтангом Петровичем.

В один из приездов в Самеба (тогда Малхаз служил переводчиком в министерстве) в новом отцовском доме его встретила шумная хмельная компания.

Гости шумно приветствовали единственного продолжателя славного рода Зенклишвили, и Вахтанг Петрович (который в тот раз, как, впрочем, и всегда, был тамадой) так стал его расхваливать и возносить, что, с одной стороны, невероятно растрогал отца, а с другой еще более подогрел щекотавшую сына гордость.

Тот вечер и по сей день не стерся в памяти Го-дердзи. Он сидел, слушал, и ушам своим не верил: вот, оказывается, как здорово играет на гитаре его сын, как замечательно поет! Вот это да!

Когда Малхаз кончил петь, гости в полнейшем восторге захлеб хвалили его, целовали, пили тосты в его честь, крича во всю глотку «экстра! экстра!..»

Вахтанга Петровича Малхаз видел и раньше. Первый раз это было тогда, когда отец, в ознаменование окончания им университета, закатил грандиозный кутеж и вместе с другими знатными людьми Самеба пригласил и Вахтанга Петровича.

В тот первый раз Малхаз не проявил особого интереса к Вахтангу Петровичу, напротив, отнесся к нему с какой-то враждебной иронией и вообще вел себя вызывающе: переманил и усадил рядом с собой кокетливую и смазливую учительницу Марику, даму

сердца Вахтанга Петровича, и весь вечер открыто ухаживал за ней. Казалось, Малхаз стремился публично поиздеваться над первым секретарем.

Вахтанг Петрович, надо отдать ему должное, был человеком тактичным и старался делать вид, что ничего не замечает, но временами с тайным беспокойством поглядывал на оживленно воркующую пару. Он хотел встретиться глазами с Марикой и взглядом показать ей вернуться к нему.

Однако упорное ухаживание Малхаза увлекло и Марику. Возможно, ей просто хотелось раззадорить секретаря: известно ведь, что женщина всегда рада пробудить ревность мужчины, который ей небезразличен. А возможно, у засидевшейся в девицах подруги секретаря зародились и иные соображения: ведь Малхаз был завидным женихом, а Вахтанг Петрович, при всех его достоинствах, мог оставаться только любовником.

Первый секретарь ничем не проявлял, что он оскорблен. Он продолжал вести стол с присущими ему блеском и удалью.

Каждый тост тамада произносил, поднимаясь на ноги, и говорил так витиевато и так долго, что за это время можно было успеть выспаться. При этом он не сводил глаз с флиртующей пары. Иной раз он поглядывал на них с такой улыбкой, будто хотел сказать: «Эй, Малхаз, желторотый слюнтяй, ты мне совершенно не опасен! Эта госпожа, сколько бы она ни конетничала с тобой, все равно спать пойдет со мной, а тебя оставит с носом. Женщина силу любит. У меня есть именно та сила, которой не хватает тебе, потому что ты пока — малосольный огурчик и ничего больше. Птенец, знаешь ли ты, с кем тягаешься?..»

С крамольной пары не сводил глаз и Годердзи.

У него сердце лопалось от злости, и единственное, чего он жаждал, это вскочить, схватить своего оболтуса сына за шиворот, встряхнуть его, как мешок, и швырнуть куда-нибудь в угол, а эту Марику, учительку, сперва оттащить за патлы, потом спустить кувырком с лестницы и вслед обложить ее своим знаменитым шестизэтажным матом.

«Неужто на свете женщины перевелись, что этот паскудник за чужой шлюхой увивается? — в обществе думал Годердзи. — Ишь, обнаглел-то как, на избранницу первого секретаря полез! Или он думает, что это ему простится? Ты, братец, укатай в Тбилиси, а все шишки на меня попадают!».

Но неожиданно начавшийся роман оборвался так же неожиданно.

Посреди всеобщего веселья Малхаз куда-то испарился, бросив разгоряченную вином Марику на попечение подвыпивших сотрапезников.

Марика сперва загрустила и потухла, но потом, слегка поколебавшись, встала и без лишних церемоний подседа обратно к тамаде.

Все воочию увидели, что Вахтангу Петровичу это доставило явное удовольствие.

Непонятное исчезновение сына окончательно разъярило Годердзи. Он и сам не ожидал, что бесславное бегство Малхаза с «поля битвы» так заденет его за живое. Честно говоря, этому бесславному бегству сына он предпочел бы обрести в лице секретаря ярого врага. Оказывается, иной раз гордыня превышает всякой выгоды!..

«Сукни ты сын, — думал Годердзи, — куда же ты лез, ежели сил не имел? Куда тыркался, как слепой щенок? А теперь получилось, что и этот человек зло затаил, и ты сам ничего не добился, с полдороги сбежал!.. Ну и счастье же у меня! Ежели ты во всем такой размазня, одна ученость тебе не поможет, дурень несчастный!..»

Ко второй встрече сына с Вахтангом Петровичем Годердзи готовился с волнением и беспокойством, опасаясь, как бы секретарь не попомнил былой обиды. Новая стычка, возможно, окончательно бы развела их в стороны и сделала бы непримиримыми врагами...

Но первое же слово тамады сразу его успокоило. Не зря, видно, считался Вахтанг Петрович многоопытным, прозорливым человеком. Он так расхвалил подоспевшего к застолью Малхаза, что стоявшая под дверью Малало то и дело утирала слезы концом своей новой, модной шали.

В тот вечер Малхаз вел себя совершенно по-другому: засматривал секретарю в глаза, не упускал воз-

возможности с ним заговорить. Когда Петрович провозгласил тост за него, Малхаз в подобающий момент встал, подошел к нему с полным бокалом в руках и с почитательностью возблагодарил за честь.

Бежико Цквитинидзе, сидевший близ секретаря, потеснил гостей, освободил место и усадил Малхаза рядом с Вахтангом Петровичем.

Секретарь и Малхаз тотчас завязали оживленную беседу. К радости Годердзи они так расщебетались, можно было подумать, встретились закадычные друзья после долгой разлуки.

Вот тогда Малхаз и показал себя, развернулся всюю: потребовал соседскую гитару, ударил по струнам и пошел их перебирать, да запел-зажурчал, и до того очаровал Вахтанга Петровича, что тот обнял его, привлек к себе, облобызал и уже весь вечер от себя не отпускал.

Третья встреча Малхаза с Вахтангом Петровичем оказалась для Годердзи особо памятной. Тогда Малхаз уже преподавал в самебской школе.

...За столом сидело всего несколько человек.

Огромная столовая была празднично освещена.

Петрович тамадовствовал с жаром, с пылом, провозглашал тост за тостом, и каждый бокал осушал, конечно же, до дна.

Малхаз и на этот раз сидел с ним рядом и так блистательно развивал каждый его тост, так согласно ему подпевал, можно было подумать, что этот обильный стол накрыт лишь для того, чтобы оба они изощрялись в красноречии.

Малало в кухне пекла картлийскую каду — со сладкой сердцевинкой. Как-то однажды, на свою беду, она поднесла секретарю эту каду. Вахтангу Петровичу до того понравилось яство, что после того всякий раз, бывая у них, он только каду и требовал. Бедная Малало вынуждена была часами простаивать над раскаленной плитой, чтобы побаловать дорогого гостя.

Годердзи, конечно, сидел с гостями, но как заботливый хозяин время от времени выходил из-за стола, чтобы велеть подать какое-либо блюдо и на-

Георгий Цицишвили. Одолей алчность свою.

полнить высокогорлые кувшины собственноручно выделанным вином «тавквери».

Он неоднократно бросал строгие взгляды на него, который так обнаглел, что сидел, точно заморский гость, развалившись, не обращая никакого внимания на отца, беспрестанно сновавшего вниз по лестнице в марани и обратно.

Малхаз вел себя так не впервые. Отец и раньше обращал внимание на его возмутительное для человека, воспитанного в древних грузинских традициях, поведение. В очередной раз поднявшись из марани, Годердзи уже вышел из терпения и вознамерился обрассудить сына, научить его уму-разуму, коли сам не понимает.

— Эй ты, парень,— нарочно по-крестьянски грубо окликнул он разливавшегося соловьем Малхаза. — Развалился, что твой Мухран-батони, и не видишь, что на столе вина недостаток! Я, братец мой, в твои годы волчком вертелся. А ну, живо, принеси вина!

Малхаз не оскорбился, не обиделся (а может, сделал вид, что не обиделся), проворно вскочил, подхватил два кувшина и стремглав выбежал из столовой. Через короткое время он запыхавшись вбежал обратно, держа кувшины высоко на вытянутых вверх руках, как делал обычно отец, и зычно крикнул на маечер тбилисских карачохели:

— Привет честной компании! — и сам же первый захохотал.

Все это он проделал с таким шиком, что даже сердитый Годердзи сменил гнев на милость и удовлетворенно улыбнулся в густые усы.

На возглас Малхаза тотчас откликнулся Вахтанг Петрович. С завидным проворством вскочил он на ноги, замахиваясь выхватил у Малхаза оба кувшина и еще громче вскричал:

— Да здравствует компания!

— Да здравствует, вашá, вашá, вашá!¹ — таким хриплым голосом возопил Бежико Цквитинидзе, точно ему нож в глотку всадили.

Тамада и Малхаз долго смеялись, похохатывая,

¹ Вашá — междометие, соответствующее русскому «да здравствует», «ура» и т. п.

потом снова уселись рядом и возобновили прерванную беседу.

Но теперь Малхаз вел себя иначе. следил, за кувшины и графины не пустели, и как только вино подходило к концу, тотчас бежал в марани. Отцовское назидание явно возымело действие.

Гиршество приближалось к концу, когда отец и сын столкнулись в марани.

Годердзи не был завистливым человеком.

Тем более не мог бы он завидовать собственному сыну, но в последнее время, наблюдая происходящее, он с неудовольствием замечал подчеркнутое внимание секретаря райкома к Малхазу.

Видно, деньги порядком испортили Годердзи — управляющий базой ни во что не ставил того, кто не умел «добывать» деньги.

«Молодо-зелено, что с него требовать, — не раз думал он о сыне. — Кроме стипендии никаких денег не имел. Он деньгам и цены-то не знает. Сырой еще, как недозрелый сыр, несмышлениш... Болтовня — одно, дело — другое... Вот женится, наденет ярмо, тогда и поглядим, на сколько его задора хватит».

Особенно было обидно Годердзи, что в последнее время секретарь райкома ни разу не заговаривал с ним о серьезных делах. Если они беседовали, так только о приобретении и сбыте леса, либо о выделывании вина, или же о каких-то там блюдах.

А с Малхазом, все еще пребывающим на отцовском содержании и пока ни в чем себя не проявившим, он вел куда какие серьезные разговоры, да так неторопливо, степенно, можно было подумать, что он только с помощью Малхаза и вершит государственные дела.

— О чем он с тобой говорит, этот наш вертихвост? — с насмешливой улыбкой спросил Годердзи сына, не скрывая нового отношения к секретарю райкома.

От восхищения и почтения, которые столь недавно питал Годердзи к Вахтангу Петровичу, мало что сохранилось, хотя бывшее уважение и затаенный страх все еще были сильны.

— Какой вертихвост? — приподнял густые брови Малхаз.

— А твой Вахтанг Петрович. Кто тут у нас гой вертихвост? — разозлился почему-то Годердзи.

— Он больше твой, чем мой, не ты ли меня с ним познакомил?

— Выходит, ты и не догадался, о ком я спрашиваю, когда я его вертихвостом обозвал?

— Нет, конечно, я подумал, ты о Бежико говоришь, — с деланной наивностью сказал Малхаз, еще раз поддев отца.

— Бежико, милый мой, не вертихвост, а просто тля... только не простая тля, а говорящая, понял?.. А все же, вертихвост-то наш, чего, говорит, хочу?

— Мы говорили о Французской революции.

— Чего, чего-о?..

— О Франции говорили, о французской культуре, о Французской революции. Оказывается, Вахтанг Петрович историк и очень любит Францию.

— Ишь, какие вы образованные оба, в Грузии уж и не найдется подходящей темы для ваших разговоров, так вы теперь до Франции добрались..

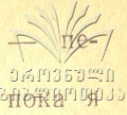
— Эх, папа, папа, какой ты прекрасный человек, а как узко мыслишь! Ты думаешь, Грузия — пуп вселенной.

— Ты, братец, немного полегче о Грузии, ты же знаешь, что для меня большей святыни не существует!

— А что дурного я говорю? Сказал, что ты все измеряешь Грузией.

— Я хорошо знаю, что ты говоришь. А вот ты знай, что если б я только Грузией все и мерил, как ты изволил сказать, то и это не значит узко мыслить. Грузия, милый мой, слишком многое и многих выдержала, выстояла, многих накормила, многих похоронила, многих возвысила и еще увидит падение многих!.. Грузия?! Э-эх ты, знаешь ли ты, что такое Грузия? Вот когда ты, сын мой и кровь моя, доживешь до моих лет, тогда-то по-настоящему это поймешь!.. А эти — эти ничтожества!..

— Если они ничтожества, зачем ты приглашаешь их, кормишь-поишь да в ножки кланяешься, разве это

достоинно мужчины, разве это тебе к лицу?  ре- / пока я
ременил вдруг тон Малхаз.

— Ну-ка, ну-ка, катись отсюда, катись, не врезал тебе по скулам! Смотри на него, ишь, осмелел! Почему ты их не спрашиваешь, чего они каждую субботу-воскресенье являются к твоему отцу? Это дело — дневать и ночевать у человека, не давая дух ему перевести?

— А что, разве за это тебе ничего не дается?

— Дается, дается, чтоб им... из своего кармана, что ли, дают...

— А ты-то из своего кармана даешь?

— Ух ты! Да чего ты ко мне привязался, негодник этакий, ведь если у меня от таких разговоров сердце лопнет, то и ты, как вырванный с корнем цветок, завянешь!

— Не бойся, отец, не такие уж у меня короткие корни, чтобы их было легко вырвать... Ты будь здоров и долговечен, а я, если хочешь, сегодня же от тебя отделюсь.

Годердзи поднимался по лестнице.

Услышав последние слова, он* остановился как вкопанный, обернулся к сыну, с минуту смотрел на него молча, потом вдруг хватил об пол оба по горло полных кувшина — только черепки полетели в стороны, и красные брызги одновременно залили лицо и отцу, и сыну.

— Ты что сказал, Малхаз? — чуть слышно, упавшим голосом проговорил Годердзи. — Как это отделишься? Тобой я живу, для тебя живу, кроме тебя и твоего благополучия ни о чем не думаю, не забочусь, ничего другого мне на этом свете не нужно, а ты о разделе говоришь? И как такие слова у тебя с языка сорвались, сын?!

Малхаз стоял, потунив голову, и глядел на осколки.

Годердзи медленно подошел к нему, протянул свои длинные ручищи, одной взял его за кисть правой руки, другой за плечо и стремительно привлек к себе упиравшегося было сына, точно так, как делал это во время борьбы, когда хватал противника за

руки, чтобы уложить его своим знаменитым ^{бедрей-} ~~бедрей-~~ ^{мым} приемом.

Он прижал сына к груди, обхватив своими ^{мо} ~~мо~~ ^{гучими} ~~гучими~~ ^{руками} ~~руками~~ его плечи, и замер так, держа его в объятиях.

Малхаз отчетливо слышал, как гулко стучит отцовское сердце, и чувствовал на лице слезы отца.

Так они стояли некоторое время.

Потом Годердзи отпустил сына, подошел к полке, снял оттуда пару новых кувшинов, наполнил их и молча вышел из марани.

Ни отец, ни сын не заметили, что когда они стояли обнявшись, на пороге появилась Малало. Она не первый день опасалась, как бы Годердзи с Малхазом не оказались лицом к лицу друг с другом. В том, что столкновение их неизбежно, она была уверена, и потому все время была настороже, зорко наблюдая за обоими, и при малейшем подозрении, что в каком-то уголке их огромного дома они могут оказаться наедине, спешила по их следам. Так и ходила она тенью то за мужем, то за сыном.

Сейчас, догадавшись, что оба они в марани, она стремглав побежала туда.

Но когда мать увидела сына в объятиях отца, плечи ее дрогнули, одним духом взбежала она по кирпичным ступеням и во дворе, остановившись, подняв голову, посмотрела на небо, перекрестилась медленно, широко, по давнишней, еще с детства, привычке, и заплакала навзрыд.

Отец и сын вернулись к столу раскрасневшиеся, сияющие.

Всегда строгие, холодные глаза Малхаза светились теплом.

Годердзи с громким возгласом вручил тамаде запотевшие, влажные кувшины.

Подносить так вино к столу умел один только Годердзи: поддев кувшины большими пальцами за ручки, он нес их на вытянутых кверху руках, высоко над головой, и с удалым возгласом подавал тамаде.

И на этот раз так же вошел он и, перекрывая шум застолья, воскликнул своим густым сильным голосом: «Да здравствует тамада!», только на этот раз он этим не ограничился и пустился в пляс.

Годердзи, широко раскинув руки, медленно поводя исполинскими плечами, с пылающим лицом и искрящимися радостью глазами, плясал свой знаменитый «Багдадури».

А это говорило о том, что бывший плотогон вскоре грянет «Метивури». Такое случалось не часто и было знаком либо особой чести, оказываемой кому-то, либо особого веселья.

Но в это самое время массивные ореховые двери столовой с шумом распахнулись и на пороге бог весть откуда появился невысокого роста щуплый человечек с поредевшими седыми волосами и седыми же, браво закрученными кверху усами.

Яркий свет, видимо, ослепил вошедшего, а громкий гомон несколько оглушил его. Вероятно, он не ожидал встретить здесь так много гостей.

Затенив глаза ладонью и шурясь, разглядывал вошедший сидящих за столом людей, и на лице его при этом играла какая-то непонятная улыбка.

— Кита, Кита! — раздалось отовсюду, и в комнате вдруг наступила могильная тишина.

Все взоры обратились на стоявшего в дверях седовласого благообразного старика.

А он, словно бы нарочно продлевая шок, вызванный его появлением, продолжал, все так же прислонив ладонь ко лбу, обозревать комнату. Из-за его спины виднелось растерянное лицо Малало.

Вахтаг Петрович вскопчил, твердым шагом направился к вошедшему.

Кита же в это время зычным, не соответствующим его тщедушному сложению и преклонным годам голосом возгласил:

— Мой нижайший привет высокому собранию! — поднял кверху правую руку, помахал ею, потом поднес ее ко лбу так, как салютуют пионеры, и именно в тот момент, когда Вахтаг Петрович подошел, дабы пожать ему руку, этот ветхий старичок с несвойственной его возрасту стремительностью ринулся к столу, обошел его с другой стороны, чтобы разминуться с секретарем, выискал свободное местечко и, не

ожидая приглашения, уселся и начал протирать ребряную вилку бумажкой салфеткой.

Все молчали, будто в рот воды набрав, и на неожиданного гостя.

А тот восседал как ни в чем не бывало и усердно протирает вилку, а потом и нож.

Обескураженный Вахтанг Петрович остановился на полдороги. В растерянности он никак не мог решить, следовать ли за щуплым старичком или вернуться на свое место. В конце концов он обошел стол, остановился за спиной Кита и, склонившись к его уху, негромко, но внятно и учтиво проговорил:

— Мы к вашим услугам, батона Кита!

— Ох, да и ты, оказывается, здесь? — удивился Кита, будто до сих пор его не видел, и, продолжая сидеть, протянул ему руку — словно нищему мелкую монетку подал.

В комнате стояла такая тишина, что муха пролети — и то слышно было бы. Даже Бежико Цквитинидзе и тот звука не произносил и с любопытством созерцал почти легендарного Кита Ларадзе.

Кита Ларадзе — это имя было известно всей Грузии...

А уж в Картли оно всех приводило в трепет.

«Учитель Кита», как обыкновенно его называли, был сыном меджврисхевского священника и учился в Горийской духовной семинарии одновременно со Сталиным, но был пятью годами младше него и на три класса ниже.

Ларадзе и Джугашвили в Гори жили по соседству, и Сталин с детства хорошо знал Кита.

После Отечественной войны Кита по крайней мере пять раз вызывали в Кремль, где он беседовал со Сталиным. О содержании этих бесед Кита никому не рассказывал, хотя каждый раз, когда он встречался с кем-нибудь в тесном кругу, все его умоляли рассказать хоть что-нибудь.

Для ответственных работников Кита был пугалом. «Чтоб тебе с Китой Ларадзе дело иметь», — это пожелание произносилось подобно проклятию.

Особенно свирепствовал Кита в своем родном районе, соседним с Самебским. Тамошним райкомов-

ским и райисполкомовским работникам житья от него не было.

Достаточно было какого-нибудь пустяка, и уже мчался в Тбилиси, жаловаться в Центральный Комитет. Если, паче чаяния, и там он не добивался успеха, тогда уж писал прямо в Кремль, и горе тому, кого Кита обвинял в своих «докладных записках».

После смерти Сталина Кита немного приутих, боевого задора у него поубавилось, но для многих он оставался все такой же страшной личностью.

И вот теперь все молча взирали на тщедушного узкоплечего старика с браво торчащими усами, облаченного в изрядно поношенный серый костюм.

А он, нимало не смущаясь, будто он тут не только не неожиданный и случайный, а самый что ни есть главный и важный гость, восседал с независимым видом, сверля своими серыми глазками окружающих, и с аппетитом уничтожал кусок белого индюшиного мяса.

Годердзи улучил момент и сердито прошипел Малало:

— Какого черта ты его привела, не могла сказать, что нет меня дома?

— Да, как же, так он тебе и поверит! Сказала я, но с ним разве сладить? Прямо в гостиную ввалился, да весь дом и обошел, ровно сыщик.

— Э-э!.. — с неудовольствием протянул Годердзи.

В это самое время Кита поднялся на ноги, отер лицо белоснежной крахмальной салфеткой, подкрутил кончики усов, обвел своими глазами-гвоздиками присутствующих и, удостоверившись, что весь стол внемлет ему, громко и внятно, отчеканивая слоги, словно объясняя урок деревенским ребятишкам, слегка склонив голову набок, заговорил:

— Когда меня вызвали на встречу со Сталиным осенью 1949 года, — это была наша третья встреча после войны, — этот великий человек спросил меня в который уже раз: ну, дорогой Кита, как живет ваше крестьянство? Я ответил: мой дорогой Сосо, говорю, пока-то очень туго живет наше крестьянство. Опеча-

дился великий человек и сказал так: я знаю, мой
Кита, знаю, но что поделаешь, ведь какое огромное
государство надо нам восстанавливать!..

Ежели бы я тогда видел эту семью, я бы взял
и сказал ему прямо, как я умею: Сосо-джан, у нас
возродились капиталисты!..

— Как нам это следует понимать, батоно Кита?
— не вытерпел Бежико Цквитинидзе.

— Так надо понимать, как я сказал, — отрезал
Кита.

— Вы сейчас изволите говорить такое, батоно Ки-
та, что ни один из сидящих здесь не сможет с вами
согласиться, ибо пока ничего подобного не зафиксиро-
вано ни в одном партийном документе.

— И-их, напугал больно! Не согласишься и шут
с зобой. Я говорю то, что вижу и в чем уверен, и го-
ворю прямо, без обиняков. А вам предоставляю юлить
и изворачиваться и ложные протоколы составлять.

Годердзи смотрел на него с опаской.

У Малало лицо вытянулось.

Вахтаг Петрович, нахмурившись, нервно курил
сигарету и очень настороженно поглядывал на подо-
гретого вином тщедушного старичка с вызывающе
торчащими усами, который грозно озирает присутст-
вующих.

— У меня в доме, знаете, крыша прохудилась и
дождь проникает внутрь. Я — я, народный учитель
Грузии, персональный пенсионер всесоюзного значе-
ния, член партии с 1920 года и — личный друг Ста-
лина! — так вот, я не могу достать для своей крыши
шифер и приехал теперь к вам, в Самеба, за этим са-
мым проклятым-распроклятым шифером. Мне сказа-
ли, что если где и достанешь, так только в тамошнем
складе, а больше нигде! Но когда я вошел в этот
дом, у меня, знаете, в глазах потемнело...

— Хорошо бы, если б правда у тебя в глазах по-
темнело, — тихонько проговорил Бежико и в поис-
ках одобрения глянул на секретаря, но Вахтагу Пет-
ровичу было не до его шуток, он с сосредоточенным
видом слушал разгорячившегося Киту.

А тот все больше входил в раж.

— Да, да, в глазах потемнело! Такой роскоши я

и в самом Кремле не видывал... Хо-хо-хо, какое богатство я тут обнаружил, какую роскошь!..

— Что все же вы такое увидели, батано? — Божико, не выдержав более, вскочил. Вид у него был очень боевой.

— Ты, вероятно, слышал, что нахального цыпленка лиса первым съест? Как бы и с тобой того не произошло. Сядь и молчи, — отбрил его Кита.

— Глубокоуважаемый товарищ Ларадзе, — Божико проглотил слюну, видно, от возмущения у него в горле пересохло. — Вы здесь не ведите сомнительную агитацию, и вообще знайте, что сейчас не то время, когда даже ложь ваша проходила...

— Мою ложь пока никто не слышал, а моя правда и раньше проходила, и сейчас хорошо пройдет... Так вот, значит, я вам говорю, что глаза мои увидели такое богатство в доме этого... как его... я забыл, дружище, как, бишь, тебя зовут?

— Гостю не подобает забывать имя хозяина, дядюшка, его хлеб-соль кушать изволите, его вино пить...

— вставил Божико, но так, чтобы Кита не обязательно услышал.

— Годердзи меня зовут, дядя Кита, неужто вы меня не помните, сколько раз я на своем плоту переправлял вас в Гори и в Тбилиси...

Кита, прервав свою речь, внимательно посмотрел на Годердзи, но, видимо, не припомнил его.

— Да, так я говорил, — продолжил он вновь, — что в доме этого... да как тебя зовут, наконец, скажешь ты или нет?

— Годердзи, Годердзи, — зашумели со всех сторон.

Секретарь райкома, видимо, счел своевременным вмешаться в дело и поднялся.

— Батано Кита, — тоном, не допускающим возражений, заговорил он. — Согласно законам грузинского стола, сперва мы должны выпить приветственный тост за подоспевшего гостя — шемосцребули, то есть за вас, а потом уже вам надлежит произнести тост за семью, в которую вошли, и за участников застолья, поэтому разрешите мне...

— Погоди ты, погоди, — махнул на него рукой Кита, — сперва я свое скажу, а уж после ты говори.

Но Вахтанг Петрович стремился именно к тому, чтобы не дать возможности этому беспокойному и упрямому старику говорить. И добился-таки своего. Он искусно заставил Кита умолкнуть, усадил на место и произнес такой тост в его честь, что камни и те расплакались бы от умиления, и Кита... тоже расплакался.

Было просто поразительно, откуда знал Вахтанг Петрович столько о самом Ките и его семинарских товарищах, о его последующей жизни. Он напоминал ему какие-то подробности, да так расписал, так возвеличил его личность, так взволновал старого учителя, что тот только слезы утирал и все твердил: ах, если бы такой секретарь да в моем районе, ни о чем бы я тогда не тужил!

Однако тамада на этом не остановился: когда Кита, осушив глаза, попросил разрешения произнести благодарственный тост, Вахтанг Петрович вскочил и во весь голос крикнул: — «Выпьем, товарищи, все как один, за вечную память великого Сталина! Бессмертно имя его! Правда, в последние годы мы его критикуем, и, надо признать, заслуженно, однако величие этого человека отрицать никто не может!».

Кита тут же схватил огромный рог и ко всеобщему удивлению до дна осушил его.

Однако он обманулся — выпил раньше времени, ибо Вахтанг Петрович умолк для того лишь, чтобы перевести дух, после чего произнес длинную речь.

Он детально охарактеризовал деятельность Сталина, говорил о его громадных заслугах и достоинствах, пересказал всю его жизнь, начиная с ранней юности и кончая послевоенным периодом. В соответствующих местах вставлял отрывки из поэмы Георгия Леонидзе и в конце концов до того растрогал Кита, что совершенно умиленный и очарованный старик облобызал секретаря райкома и клялся, что обязательно расскажет о нем в Кремле (это уж, конечно, по старой памяти).

После Вахтанга Петровича слова опять попросил Кита. Тамада потребовал поднести ему особый кубок, но Кита заупрямился, дескать, я уже выпил.

— А если вы уже выпили, чего же вы еще хотите? — начал интриговать Вахтанг Петрович и безапелляционно заявил: — Если вы произносите тост, вы обязаны и выпить... У нас такой закон! Иначе и нам не пристало, и недостойно того человека, за помин которого вы желаете выпить.

Кита, устав от споров и пререканий, оглушенный огромным рогом, махнул рукой, плюхнулся на свое место и разворчался. Но тамада не дал ему особенно хорохориться, взял в руки еще более объемистый рог и провозгласил тост за здоровье грузинских деятелей просвещения в лице Киты.

Кита снова расцвел, вскочил на нетвердые уже ноги, и когда Вахтанг Петрович наконец-таки закончил свой длинный витиеватый спич, захмелевший старик хотел что-то сказать, но его вконец одолело вино, язык стал заплетаться, и он рухнул на стул.

Тамада, видимо, твердо решил окончательно его упоить, поэтому он снова предложил тост — на этот раз «за наших ближайших соседей, за Гори, да здравствует орлиное гнездо!», и принялся излагать историю Гори, начиная с древнейших времен, когда в Горийской крепости стоял греческий гарнизон и город назывался «Тонтио», что по-древнегречески значит «осинник», «осиновый лес».

Кита пытался было что-то пролепетать, но язык, как и тело, ему не повиновался. Густое и крепкое годердзиево «тавквери» так его разобрало, что он уже ничего совершенно не соображал. Сидел, опираясь локтями на стол, и отрывочно, неверным слабым голосом выводил старинную песню: «Гори, ты удалой вожак всей Картли!».

Под конец, когда Кита совсем обмяк, Вахтанг Петрович мигнул Годердзи, что-то коротко бросил Бежико, и оба они, Годердзи и Бежико, бережно подхватили старика под руки, подняли из-за стола и вывели из зала.

Кое-как отволокли они его в гостевую комнату, служившую и спальней для гостей, и уложили на тахту. Малало принесла таз и поставила у изголовья тахты — чтобы гостю не понадобилось вставать на

случай, ежели затошнит. Годердзи поставил на бочку бутылку боржоми и стакан.

Но в это время Кита неожиданно очнулся ва взялся за свое:

— Послушай, — обратился он к Годердзи. — Как это ты накопил такое огромное состояние? И чего ты такого наворовал, чертов сын, что ты украл и сколько, что так разбогател?!

У Годердзи в последнее время появилась одна особенность: стоило с ним заговорить о чем-нибудь богатстве, как у него портилось настроение. Но упаси бог, если заходила речь о нем самом! Тут уж у него буквально в глазах темнело, лицо начинало пылать, сердце бешено колотилось.

И сейчас с ним так случилось.

Он и Киту не хотел обидеть, — старый плотогон никогда не терял природную осторожность, — но и выслушивать такие речи спокойно тоже не мог. Поэтому он попытался перевести разговор на другую тему.

— Я, глубокоуважаемый учитель Кита, давно вас знаю, и вообще... всегда... всегда... — в который уже раз начинал и так и не мог он договорить фразу.


Малало стояла подле, растерянная не меньше мужа.

Активнее всех старался унять Киту опять-таки Бежико Цквитинидзе. Завотделом агитации и пропаганды райкома стал урезонивать неугомонного старика, но не совсем удачно:

— Спи теперь, спи, батоно, — гурийским говорком, мешая «ты» и «вы», увещевал он его, — не мучьте этих несчастных хозяев, кроме вас здесь еще сколько гостей! За всеми присмотреть надо...

— Ты, эй, братец, ты лучше за собой присмотри, а мы с ним без тебя разберемся, нашелся мне тут, — осадил его Кита и добавил по-русски: — мировой посредник... И вообще, кто ты такой, откуда ты взялся?

— Вы, дорогой батоно Кита... — тут Бежико совершил непоправимую ошибку, произнес имя на западногрузинский лад с начальным простым «к» и с ударением на последнем слог.

— Я тебе не «Кита́», обормот ты, а Кита! 

— Неважно, Кита вы или Китэса, но вы должны знать, что...

— Ты смотри на этого придурка! Мое имя вся Грузия знает, а он, невежа, называет меня черт знает как! — возмутился оскорбленный Кита.

— Вы должны знать, батано Кита́ или батано Кита, что... — не унимался вошедший в раж Бежико.

— Уберите от меня этого дурошлепа, чего он ко мне привязался, чего ему от меня надо? Или, может, он что-то путает, забыл, что я все тот же Кита Ларадзе, и такое устрою, что мышиная нора раем ему покажется!..

— Вы должны знать, батано Ки... Кита, — поправился наконец Бежико, — что мы боремся с культом личности, который царил тогда. Поэтому и вы не очень-то... не прикидывайтесь невинной овечкой, вы, батано, прошу прощения, но вы...

В этот самый момент в комнату вошел Вахтаг Петрович.

Увидев порядком захмелевшего Бежико в позе оратора, с воздетой кверху рукой, он обнял его за плечи, легонько подтолкнул в спину и выставил за дверь. Потом присел на краешек тахты, где возлежал буйный гость, и, обратив на него свой взор, долго и внимательно его рассматривал.

К тому времени последние всплески энергии упившегося учителя улеглись и он успел погрузиться в сон.

Годердзи и Малало с виноватым видом молча стояли перед секретарем райкома.

Малало казалась испуганной, у Годердзи лицо побаврело.

Вахтаг Петрович, верно, и вправду был сердцевед: подошел к Годердзи, потрепал его ласково по плечу, потом взял за руку, встряхнул и сказал:

— Что, старый речной волк, обидел тебя наш Кита? Ничего, надо его простить, он человек старого образца, эти люди все иным аршином меряют, к тому же они — последние могикане...

Что значит «могикане» Годердзи не знал, но уразумел одно: секретарь райкома хочет утешить его, приободрить.

— Да что ж, дорогой Вахтанг Петрович, — заговорил Годердзи, широко разводя в стороны свои ручки. — Оно верно... Гостя и ублажить надо, и все ему простить. Иначе погресишь против закона гостеприимства, а этого делать никак нельзя!..

— Правильно! Что ж, пошли-ка отсюда, «пока еще нам мно-ого-много тостов остается», — протянул Вахтанг Петрович, на свой лад перефразируя стих Галлактиона, и первым вышел из комнаты.

— Да здравствует наш великий тамада! — нечеловеческим голосом завопил Бежико при появлении секретаря. — Ваша-а-! — и тут же добавил: — Гаумар-джос!¹ — и все присутствующие хором трижды процричали «джос! джос! джос!».

Видимо, страсти, разгоревшиеся с появлением Киты, настроили Вахтанга Петровича на философский лад и ему захотелось произвести архисерьезные теоретические выкладки. Философствование было его слабостью. Поднимая каждый очередной бокал, он произносил по крайней мере часовую речь и до того утомил пирующих, что даже резвый Бежико не выдержал — опустив кудлатую голову на край стола, довольно громко захрапел.

Единственным человеком, который с неослабным вниманием слушал утомительное краснобайство секретаря, да еще вовремя поддакивал, хлопал в ладоши и с восторгом осушал каждый очередной бокал, — единственным таким человеком был Малхаз.

На Малхазе не видно было и следов усталости. Он выглядел таким же оживленным, таким же трезвым, как и в начале пира.

Это обстоятельство, разумеется, не ускользнуло от внимания тамады. Потому с каждым тостом он «переходил алаверды» к Малхазу. Малхаз с готовностью и почтением принимал тост и с жаром его развивал, осушая бокал за бокалом. Одним словом, он не ударил лицом в грязь, достойнейшим образом поддерживал тамаду.

¹ Гаумарджос — здесь «да здравствует».

Один из последних тостов Вахтанга Петровича был за честных, порядочных людей.

Вот тут-то и отличился Малхаз! С достоинством неторопливо поднялся он на ноги, попросил у тамады слова и заговорил таким громким голосом, что Бежико проснулся и протрезвел.

Годердзи и Малало с опаской глядели на сына.

Они и сами не отдавали себе отчета почему, но всякий раз, как речь заходила о честности и порядочности, неприятный холодок пробирал обоих.

— Я, как вы знаете, историк, и изучение моего предмета привело меня к одному заключению, — громко, внятно, спокойным, но значительным тоном заговорил Малхаз. Годердзи понравились первые же слова сына, и он стал внимательно прислушиваться. — Я отчетливо увидел, что на каждом рубеже истории, то есть на каждом ее повороте, когда меняется уклад жизни и, стало быть, меняется мораль (ведь мораль, как известно, категория историческая), старшее и младшее поколения укоряют друг друга в падении морали!

Тут Малхаз умолк, налил себе боржомской воды и выпил. Он держался уверенно и солидно, словно деловой человек, привыкший выступать с важными докладами в высоком собрании, причем не перед старшими, а перед младшими своими коллегами.

Вахтанг Петрович, чуть склонив голову, слушал представительного молодого человека. Надо сказать, что секретарь чрезвычайно любил глубокомысленные тосты. «Люблю интеллектуальное застолье», — не раз говаривал он и причислял себя к организаторам именно таких «интеллектуальных застолий», чем, по-видимому, очень гордился.

Годердзи испытывал неясное ему самому чувство, похожее на радость. Если бы его спросили, он бы и сам не смог ответить, что это было — радость ли, гордость, удовлетворение ли, но что чувство было приятное, он четко ощущал. Подобное чувство овладевало им и прежде, но на сей раз оно было более осознанным.

—...И вот как раз в моменты таких изменений за-

Георгий Цицишвили. Одолей алчность свою.

конов морали, — продолжал меж тем Малхаз, старшее поколение обычно обвиняет молодежь в падении морали, кричит о моральном разложении, тором якобы повинны молодые.

«Гляди-ка на этого мерзавца, — с любовью думал отец, — ишь как говорит, точно по-писаному! Нет, клянусь памятью отца, верно он говорит. Покойный Какола только в том и упрекал меня, только и кричал, дескать, не сегодня-завтра все вы честь-совесть вконец потеряете... будто я во всем был виноват».

— Однако это совершенно естественно, — продолжал Малхаз, — именно потому мораль и является исторической категорией, что каждая конкретная эпоха оставляет на ней свой след, что-то прибавляет, что-то отсекает, какую-то норму отвергает как устаревшую и уже нелепую, и порой узаконивает то, что в предыдущие эпохи показалось бы попросту неслыханным и неприемлемым.

Одним словом, каждая новая эпоха перечеркивает что-либо из прежних моральных норм, а взамен приносит новое и объявляет это новое канонам. Что и говорить, изменения происходят не сразу, не внезапно. Народ проявляет при этом большую осторожность и верность старому, однако схема, начертанная мною, неуклонно осуществляется. И хочешь ты того или нет, новое неизбежно побеждает старое, и таким образом, та же участь постигает и нормы морали...

— Прекрасно! — вставая и поднимая вверх указательный палец, многозначительно произнес Вахтанг Петрович. — Вот это и есть марксистская диалектика в действии! Бывает, человек знает марксизм, а вот применить его в конкретном случае не может. Наш дорогой хозяин подал нам великолепный пример того, как надо его применять. Мы вас слушаем, батю Малхаз, продолжайте!

Он снова уселся и в знак усиленного внимания оперся подбородком на согнутые в локтях руки, приготовившись слушать.

Годердзи же от удивления разинул рот: он впервые в жизни услышал, что его сына называли «батюно», да еще кто! — сам первый секретарь.

— То, что я сказал сейчас, всем в той или иной степени известно, — продолжал Малхаз, — я Америку открывать не собираюсь...

— Э, нет, не совсем так обстоит дело, — вмешался заведомо агитации и пропаганды, — не умаляя, пожалуйста, себя. Ты очень здорово развил интересное теоретическое положение и дал ему очень точную интерпретацию... — Бежико, заметив, что секретаря заинтересовали разглагольствованиа Малхаза, поторопился выразить одобрение.

Такая уж была у него привычка: если секретарю что-либо нравилось, он торопился его поддержать, тем более в идеологических вопросах, где Бежико считал себя докой, во всяком случае в масштабах Самеба.

— Но я хочу сказать нечто такое, чего вы не услышите на специальных курсах и не прочтете в трудах. Если мораль категория переменная, следовательно, и понятие совести — относительно и также весьма переменна. Исходя из этого, постоянно меняются и понятия — порядочность и порядочный человек, за которого только что выпил наш многоуважаемый тамада. Сегодня этот порядочный человек уже не тот, каким был вчера, а завтра уже не будет таким, какой есть сегодня. Вот в чем суть диалектики, и именно это является залогом развития...

— И отрицанием отрицания! — вскричал Бежико. — Именно отрицание отрицания есть душа и сердце марксистской диалектики! — и заведомо агитации и пропаганды обвел присутствующих своими желтоватыми ястребиными глазами.

— Каким предстает перед нами в свете этой все-сильной внутренней диалектики понятие порядочного человека? — не реагируя на не совсем понятный комментарий, задал вопрос Малхаз и многозначительно умолк.

— Ого, это весьма и весьма интересный вопрос, — глубокомысленно проговорил секретарь райкома.

— И весьма и весьма практический! — добавил в свою очередь Бежико.

— Вот только что в ослаблении морали упрекал нас батони Кита...

И в этот миг произошло поразительное: едва Малхаз произнес имя Кита, высокие двери столовой со стуком распахнулись и на пороге появился Кита Чарадзе. Он стоял, так же затенив глаза ладонью и так же разглядывая сидящих за столом, как и в первый раз.

Воцарилось гробовое молчание. Вот уж чего никто не ожидал!

Вахтанг Петрович вскочил, как ошпаренный.

— Пожалуйте, батона Кита, ваш бокал ожидает вас!

— Он-то ожидает, а вы не ждали! Подумал, вот, мол, напоили мы старика, да не тут-то было, Кита не из таковских! Я снова здесь, с вами, черт вас всех побери! — с этими словами Кита прошествовал к столу и уселся на прежнее место.

— Это очень приятно, батона Кита, очень! — приветственно распахивая объятия, воскликнул Бежико. — Без вас мы были, как рыбы без воды!..

— Охо-хо-хо, какой ты, должно быть, пройдоха... — покачал головой Кита и вонзил в Бежико свои мышиные глазки.

— Простите! — довольно строго и официально произнес Вахтанг Петрович. — Я забыл представить вам заведующего отделом агитации и пропаганды нашего райкома, товарища Бежико Ражденевича Цквинидзе.

— Ну, ладно, ладно, больше я ничего не скажу, — Кита понял движение души секретаря и, ухватив вилкой аппетитную пороссячью ножку с поджаристой румяной корочкой, перетащил ее к себе на тарелку.

— Я очень люблю, когда вместе с другими меня слушает тот, с кем я спорю. Заочный спор дело трудное, потому что иногда получаешь как бы удар ножом в спину, а по законам мужества бороться с противником нужно лицом к лицу... — продолжая сохранять достоинство, веско и убежденно продолжал свой тост Малхаз.

Однако Кита прервал его.

— По твоему разумению выходит, что если ты оказался хитрее противника, если обошел его сзади и нанес удар оттуда, откуда он того не ждет — это

нечестно! Кажется, ты так сказал, не правда ли? ринулся в бой Кита.

— Нет, батано Кита, военное искусство — дело, а спор двух человек — другое. Я хочу поспорить с вами, вернее, с вашими взглядами...

— Ого, это что за такой боевой петушок выискался? Я пока и рта не раскрывал, а ты уже в спор со мной рвешься? Кто этот юноша? — осведомился Кита, обращаясь к присутствующим.

— Это мой сын, — ответил ему Годердзи, и непонятно было, стыдится ли он сына или гордится им. — Он только что закончил исторический факультет и теперь ему не терпится... — Годердзи улыбнулся.

— Ну, в таком случае говори, может статья, и скажешь что-нибудь путное. Хотя мы не избалованы нашими историками. Они все больше ругают старое. Если их послушать, так в Грузии кроме измен и предательств ничего и не происходило. Если это действительно так, каким образом мы дожили до сей поры, как сохранили нашу землю, нашу веру, государственность, нацию, язык, культуру?! Как устояли перед врагом, который терзал нас со всех сторон? Эх, рано, рано лег в могилу великий человек, не успел образумить этих молодчиков!..

— Я говорил вам о том, батано Кита, что понятие порядочного человека всегда было величиной переменной, оно и сейчас претерпевает изменения, и смысл этого понятия вчера был один, а сегодня стал другим...

— Чего, чего?! Что за ересь порет этот юноша? Из его слов следует, что совесть, порядочность Ильи Чавчавадзе, Важа Пшавела, Иванэ Джавахишвили нынче непригодны, что мы должны следовать иным законам чести и порядочности? А ежели сегодняшние законы чести мы объявим истинными, значит, получается, что наши великие предки были бесчестными и непорядочными?! Разумеется, по твоим меркам они непорядочные! Так ведь? Слово не воробей, юноша, вылетит — не поймашь! — Кита вскочил и стоял нахохлившись, охваченный боевым пылом.

— Батано Кита, — вмешался тамада, — здесь у

нас не диспут, мы сидим за достойным столом, провозглашаем достойные тосты. Батоно Малхаз добросия у меня слова, и я дал ему слово. Если вам понравился то, что он говорит, — хорошо, а нет — воля ваша, не поддерживайте его тост. Но мешать ему вы не имеете права. Тост принадлежит ему, и он волен говорить что хочет. Это ведь не непреложная истина, а обыкновенный тост...

Умел Вахтанг Петрович заставить противника замолчать, опытный был спорщик! Еще юношей он успел застать диспуты в комсомольских и партийных уездных организациях, которые велись вплоть до середины тридцатых годов. Там он прошел хорошую школу и поднаторел в ведении всяческих споров.

Но и Кита был не менее настойчив и тоже умел отстаивать свое. Секретарей на своем веку он видел-перевидел, потому не особенно с ними церемонился.

— Получается, что ты меня учишь, как надо за столом сидеть и как себя вести, — грозно проговорил он.

Вахтанг Петрович сразу пошел на попятный. Он смекнул, что этот настырный старик (к тому же во хмелю) может здорово начудить.

— Прошу прощения, батоно Кита. У меня и в мыслях не было вас обидеть. Извините, если что не так получилось... Я просто хотел напомнить моим сотрапезникам их права и обязанности. Вам лучше меня известно, какие древние и сложные традиции имеет наше застолье, и мы должны стараться и сами их соблюдать, и следить, чтобы никто их не нарушал, будь то вольно или невольно...

— Охо-хо-хо, ты тоже хороший демагог!.. — обрезал его Кита.

Вахтанг Петрович сделал вид, будто не услышал этой досвобольно громко произнесенной реплики, уселся на свое место и рукой подал знак Малхазу — продолжай, дескать. Но тут выступил Бежико.

— Батоно Кита, — бодро окликнул он Ларадзе, — а не скажете ли вы нам, как называется человек, который все ругает, все осмеивает и хочет всех заставить мыслить только так, как он сам?

— Отчего же не скажу, приходи на мои показательные лекции, которые я читаю еженедельно учи-

телям нашего района, там я говорю как раз о таких выскочках, как ты.

Было очевидно, что Кита с первого взгляда не любил Цквитинидзе, каждое его слово он встречал в штыки.

Вахтаг Петрович вскочил, как ошпаренный, и застучал вилкой по коньячной бутылке. Несвойственно резким тоном он призвал присутствующих к порядку и знаком вновь велел Малхазу продолжить тост.

— В ответ на упрек батони Кита я хочу сказать несколько слов о чести и порядочности, — в который уже раз начал Малхаз, однако голос его звучал так спокойно и уверенно, что, по-видимому, перепалка за столом его ничуть не смутила.

Годердзи смотрел на сына с откровенной любовью. Смотрел и удивлялся, как это Малхаз столь твердо следует своей линии, будто все, что делается вокруг, нисколько его не касается.

Во всем он был такой, этот непонятный парень. Смотрел свысока на то, что происходило вне его, словно бы он солнце, а остальные, подобно планетам, должны вращаться вокруг него.

— Товарищ Малхаз! Если у тебя есть что сказать — говори, не до утра же нам мусолить этот один тост, разве у нас другого дела нет? — вышел вдруг из терпения Бежико и строго поглядел на Малхаза.

— ... Так часто слышишь: тот или иной человек «действительно» порядочный, — невозмутимо продолжал оратор. — Нынче самым основным достоинством считается порядочность, но никто не думает, а что кроется за этой порядочностью и чего иной раз она стоит.

«Вона, как разукрасил и куда повернул», — подумал Годердзи и почувствовал еще большее тепло к сыну.

— Если сказать правду, главное в том, о чьей порядочности идет речь. Если взять отдельную личность, так каждый нищий окажется порядочным, потому что нищий на то он и нищий, что ни на что другое не способен и ничего другого не может. Ни во-

ровать, ни отнять силой. Иногда нищий потому только и не крадет, что просто не способен, не может, а если б мог, то, возможно, крал бы. Если не принимать это во внимание, получится, что каждый человек, который не способен воровать и совершать иные подобные поступки, — порядочный.

Но основное как раз в том, почему, по какой причине он не ворует и ничего не нарушает. Ведь существуют попросту бездари, безвольные и никчемные люди, не способные ни на какое дело, которым суждено окончить дни свои незаметными чиновниками, какими-то мастеровыми, мелкими специалистами! Разве их порядочность — подлинная? А не потому ли она является порядочностью, что непорядочность им не по плечу? Разве пассивность, исходящая из их ограниченности и никчемности, может служить проявлением высокой морали? В таком случае каждый никчемный бедолага может служить олицетворением порядочности!..

Нет, уважаемые гости, такая порядочность — совсем иное дело, и называется она иначе. Это лжепорядочность, порядочность поневоле, идущая от слабости, а не от достоинств... А ну, если бы этим людям да больше сообразительности, больше сноровки, умения, больше смелости, размаху бы им, способностей и знаний побольше, и посмотрите тогда, останутся ли они до конца порядочными людьми, или же, подобно многим другим, вступят на путь личной выгоды на скользкую тропку собственного обогащения...

Все как замороженные слушали Малхаза. Его густые волосы сбились на лоб, глаза посуровели, и слова он произносил так, точно острым топором чурки рубил.

Глядя на сына, который стоял расправив плечи и слегка накренив бычью шею, Годердзи узнавал в нем столь знакомые ему черты — зенклишвилевское упорство и шавдатуашвилевскую смекалку, и сердце его радостно трепетало.

Вахтаг Петрович тоже с не меньшим вниманием слушал вдохновенно ораторствовавшего молодого человека. Секретарь выглядел задумчивым, как никогда. Видимо, осмысливал услышанное. Бежико сидел, вытаращив глаза. Он впервые слышал такие умные и,

Именно таких людей мы должны считать порядочными людьми нашего времени.

У Годердзи будто камень с плеч свалился.

— Человеку с большим размахом грозит искушение и по скользкой тропке пойти, но ему присуща и большая смелость, ему по плечу большие дела, и несмотря на все, он честно выполняет свои обязанности, не сворачивает с дороги, честно трудится, — это и есть подлинно порядочный человек нашей эпохи!

Ему я могу простить, если он в чем-то схитрит и для себя что-то выгадает, не надо забывать, что и польза от таких людей велика. Если такой человек рубль для себя урвет, то хотя бы пятьдесят копеек из того рубля употребит на полезное общее дело, и, значит, вернет его обществу. Я хочу предложить вам тост именно за такого порядочного человека!

— Дай бог тебе здоровья! Златоуст ты, оказывается, и мудрец! Дорогой Годердзи, у тебя и вправду замечательный сын, и ты посмотришь, если не сбудется мое пророчество: Малхаз пойдет очень далеко и взлетит высоко, — с незаметным доселе теплом проговорил Вахтанг Петрович.

— В личности Малхаза слились воедино способность поразительно ясного теоретического рассуждения и удивительно глубокий аналитический ум, — резюмировал заводителем агитации и пропаганды.

Годердзи слетал в марани, принес оттуда, как он умел, на больших пальцах два кувшина, полных прохладного вина, сияя, поднес их тамаде с обычным ухарским «да здравствует тамада» и наконец исполнил свою вправду неповторимую «Метивури».

Когда Годердзи закончил петь, Ларадзе, который слушал Малхаза с большим вниманием, постукал ножом по хрустальному бокалу.

— Это твой сын? — обратился он к Годердзи, сунув брови и пальцем указывая на Малхаза, словно опасаясь спутать его с кем-либо другим. — Извини, дорогой, забыл, как тебя звать...

— Годердзи, Годердзи!..

— Ага, да... Получается, что ты, значит, практический деятель, а этот юноша помогает тебе теоретически. А оба вы, на пару, народ разлагаете, — гром-

ко и внятно проговорил Ларадзе — точно ушатом
ды облил Годердзи.

Все замерли.

Даже Бежико растерялся и не знал, что возразить дотошному старику, который, казалось, только тем и был занят, как бы досадить пирующим.

— А как же, — продолжал меж тем Ларадзе, — ты накопил такое состояние, облапошил столько людей, нужно ведь найти этому теоретическое обоснование, вот твой сын и старается для тебя и тебе подобных. Нам, сказал он сейчас, нужны активные воры, которые побольше прикарманят и малую толику из наворованного уделят народу. Не так ли, юный Демосфен? Ты ведь так нам объявил?

— Нет; он сказал не так, — глухо, но твердо возразил секретарь райкома и встал.

— Ну что мне говорить, когда и партийное руководство на вашей стороне, — пожал плечами Ларадзе, потом заерзал на стуле, окинул взглядом сидящих вокруг и, уставившись на Малхаза, елевым голоском спросил:

— Ты знаешь, кто ты такой?

— Мы-то знаем, — ответил за Малхаза Бежико, — но может, вы нам скажете, может, мы ошибаемся...

— Цветок, выросший на навозной куче, вот он кто!

— Что, что? — опешил Бежико.

— Цветок, у которого божественный цвет, а пахнет он навозом, потому что питался навозной жижей!..

— разгневанный Кита резко встал из-за стола, швырнув белоснежную крахмальную салфетку, чуть не бегом пересек комнату и вышел, громко хлопнув дверью.

Все сидели как громом пораженные.

Ваханг Петрович трясущейся рукой безуспешно чиркал спичкой, чтобы прикурить сигарету.

Побелевший Годердзи сидел, налегая грудью на стол, и, выпучив глаза, смотрел по сторонам, словно вопрошая окружающих: «Неужели правда то, что он сказал?».

— Да он просто ненормальный! Чего он взвёлся на всех, а? Ну и ну! — развел руками Бежико.

Годердзи спирало дыхание. Что-то сдавило и все его сильное тело странно тянуло книзу.

Он с трудом заставил себя встать, вышел в другую комнату, чтобы немного успокоиться, прийти в себя.

Исак последовал за ним. Годердзи стоял на балконе, Исак стал рядом и, воздев руки, проговорил:

— Поздравляю, брат, поздравляю!

— С чем ты меня поздравляешь, с тем, что сына моего с грязью смешали? — огрызнулся Годердзи.

— Э-э, делать тебе нечего, кто об этом будет помнить? Ветром надуло, ветром развеяло. Что его слушать, склерозный старик...

— Да ну тебя! — отмахнулся Годердзи. — Старик, говоришь, да какой он старик, парня опозорил всенародно, осрамил, назвал цветком, на навозе выросшим, значит и меня оплевал, выходит, я и есть навозная куча... а ты говоришь, ничего, ветер, мол, развеет...

— Начальник, ты ведь знаешь, я не дурак, голову имею на плечах хорошую. Клянусь своей юностью, я и правда не глуп. Что бы я ни задумывал, все у меня исполнялось, слышишь ты, и как я предполагал, так все и получалось!..

— Э-э, ладно уж, любишь ты бахвалиться! Да и время ли сейчас... Или не видишь, я сам не свой, того гляди, сердце разорвется...

— Годердзи Тандилович, разве я не с тобой? Поэтому и говорю... Дай сказать, послушай!

— Неужто мне твоя болтовня теперь поможет?

— А вдруг да я тебе такое скажу, что и вправду поможет?

— Э, брось ты, ради бога! Поди-ка лучше к гостям, я тоже скоро приду. Чуток воздуха глотну, чтоб немного от сердца отлегло. Колет чего-то под ложечкой...

— Послушай меня, Тандилович, сын у тебя — чистое золото, золото девяносто шестой пробы. Мы должны его продвинуть, дорогу дать ему должны! Давеча, когда я его речи слушал, все о том и думал...

— Годердзи, опираясь плечом о балконный столб,

гляддел вдаль, туда, где протекала Кура. Но низко сплывшиеся сизые облака скрывали ее.

Смысл слов Исака не сразу дошел до удрученного Годердзи, и он некоторое время молчал. Потом, очнувшись, медленно повернулся к собеседнику и устремил на него свои большие глаза.

— Чего, чего? Кого это продвинуть, кому мы должны дать дорогу?..

— Кому, кому! Сыну твоему, вот кому! Замечательный он парень и далеко пойдет, разве не так сказал Вахтанг Петрович? Поверь ты мне, ну ей-богу!..

Годердзи долго сверлил суровым взглядом главного бухгалтера, но ни слова не сказал.

Исак знал характер начальника: Годердзи обычно все выслушивал и молча обдумывал. Основательный был человек, все слышанное, виденное старался осмыслить как можно глубже, проникнуть в самую суть.

— Сейчас требуются именно такие прогрессивные люди, заплесневелых и закосневших буквоедов ни в политику, ни в экономику нельзя допускать. Того же мнения и наши руководители. Теперь, мой дорогой Тандилович, иные времена, теперь нужна активность, инициатива. Кадры нужны, соответствующие времени. А иначе как проводить новую линию?

Надо шепнуть Вахтангу Петровичу, пусть заберет твоего сынка в райком. Сначала инструктором, потом заведующим отделом, потом секретарем и, вот увидишь, скоро до первого секретаря дорастет! А уж оттуда полшага до какого-нибудь хорошего кресла в Тбилиси! Усек, какие перспективы? Да пойми ты, милый человек, пойми!.. Мы должны расшевелиться, хлопотать, пусть у нас в директивных органах еще один свой человек будет! Чем больше своих людей, тем лучше, разве не так? Ты видишь, как Малхаз рассуждает? Он, как я понимаю, ясно видит, что сегодняшней день не похож на вчерашний...

Слушая Исака, Годердзи несколько приободрился.

Правильно говорит этот старый лис. Отчего бы и не попытать счастья? Может, и вправду выведет он сына в люди? В чем же еще обязанность отца, как

не в этом? И если впоследствии все сложится так, как Исак рисует, то... лучше и быть не может! Положение сына и состояние отца окончательно основу их семьи.

Эти мысли вернули управляющему базой душевное равновесие. Он вышел к гостям с улыбающимся лицом, уселся на свое место с видом собственного достоинства, словно и не было давешнего неприятного инцидента, не было оскорбительных нападок выжившего из ума Киты.

Исак поспешил за шефом, но не вернулся на прежнее место, а подсел к Бежико и стал нашептывать ему что-то на ухо.

Завотделом агитации и пропаганды внимательно слушал Исака Дандлишвили и время от времени утвердительно кивал головой.

Вахтаг Петрович, как человек воспитанный, тактичный и вместе с тем перевидевший в своей жизни немало всякого, ничем не проявил неудовольствия по поводу вторжения Киты Ларадзе. Он будто и не заметил, что Кита вел себя вызывающе и оскорбил не только всех присутствующих, но и его лично, — ведь обличительные речи достославного учителя задевали его как руководящего товарища. Он держался свободно и непринужденно, казалось ничего особенного и не произошло.

Годердзи же было стыдно и неловко именно перед секретарем. Потому он и вышел из столовой — от него сбежал, терзаясь, что вот, мол, по моей милости, в моем доме Вахтага Петровича поставили в такое глупое положение.

В то же время он переживал, что его самого так осрамили, так опозорили в присутствии секретаря. Если бы не Вахтаг Петрович, пусть и хуже бы ему наговорил этот полоумный Ларадзе, Годердзи так бы не расстроился.

Малхаз же как ни в чем не бывало, оживленно рассказывал секретарю историю какого-то столичного архимиллионера. История, видимо, была забавная, потому что Вахтаг Петрович хохотал от души.

Знание английского и французского языков чрезвычайно помогало Малхазу. Он вычитывал из иностранных газет и журналов светскую хронику и прочие

пикантные сообщения, чтобы при случае блеснуть в обществе. Память у него была отличная, рассказчик он был отменный и, что главное, знал, кому, что и где рассказать. Эти его способности завораживали самбскую интеллигенцию и придавали молодому Зенклишвили особый шарм. А уж краснощекие самбские девицы без ума были от учителя истории, в котором видели живое олицетворение интеллигентности и интеллектуальности.

Под конец бурного вечера, когда дело дошло до тоста за благополучие семьи, слова попросил Бежико Цквитинидзе.

Он, в который уже раз, стал пересказывать биографию Годердзи, хотя все гости знали ее чуть не наизусть. Однако восхвалением Годердзи он не удовлетворился и включил в тост и Малхаза как молодого хозяина.

Завотделом агитации и пропаганды высокопарно говорил о молодом педагоге, который, не жалея сил, трудился на ниве воспитания юного поколения и, будучи сам молодым, готовил отечеству новую смену. В заключение, устремив взор на секретаря, он с вдохновением произнес: как было бы хорошо, если бы районный комитет смелее привлекал таких молодых работников, ввел бы их в свой аппарат и таким образом освободился бы от бесперспективных, заплесневелых партийных работников, которые по сию пору не разобрались в партийной работе и не смогли освоить тот стиль, который с несомненным успехом внедряет высокоталантливый организатор партийного дела Вахтанг Петрович.

— Со своей стороны, — с жаром заключил Цквитинидзе, — я должен заявить, что отдел агитации и пропаганды с удовольствием будет ходатайствовать и с радостью примет в свой состав столь одаренного молодого человека, как Малхаз, ибо давно уже настало время пополнить руководящие кадры района за счет местного населения.

Секретарь райкома внимательно слушал цветистую речь Цквитинидзе, временами в знак согласия

Георгий Цицишвили. Одолей алчность свою.

кивал головой и подбодрял его соответствующими междометиями.

Когда гости прощались, Вахтанг Петрович в машину, сказав, что хочет пройтись пешком, взял под руку Малхаза и предложил ему прогуляться по свежему воздуху.

Облака рассеялись.

Полная луна щедро рассыпала свои лучи.

Огромные кроны платанов, которыми славилась Самеба, четко очерчиваясь на фоне неба, казались не настоящими, а вырезанными чьей-то могучей рукой из неведомого материала и подвешенными к небу.

Стояла удивительная тишина.

Чем больше они удалялись от возвышавшегося на гребне холма дома, тем ярче казался он освещен. Дом напоминал корабль, стоявший на рейде.

Вахтанг Петрович был хорошим собеседником. Сын бедного рачинского крестьянина, он прошел нелегкий путь, много пережил, много перевидел, ему было что вспомнить, что рассказать.

Разморенный вином, одурманенный замечательным самебским воздухом и тихой лунной ночью, секретарь райкома был настроен на задушевную беседу.

Сперва он вспомнил свое детство, нужду — постоянную обительницу отчего дома. Потом — работу на чнатурских рудниках... Отца, у которого правая рука высохла от травмы, и он, неспособный к труду, был вынужден заняться перекупщицеством. Потом — трудную учебу в Кутаиси, где дядя, буфетчик на железнодорожном вокзале, приютил его и дал ему возможность получить среднее образование. Потом — комсомол, работа в котором была одним из самых светлых воспоминаний в его жизни.

Вахтангу Петровичу довелось работать со многими и многими людьми. Трудно было назвать хоть одного более или менее известного партийного или государственного работника, которого бы он не знал. И о каждом из них мог рассказать много интересного.

В тот вечер он почему-то вспомнил Тэдо Корсавели, бывшего секретаря Кутаисского горкома, с которым он хлебнул немало горечи, но начало его продвижения по партийной работе положил тоже Корса-

вели — именно он перевел молодого энергичного комсомольского деятеля в Кутаисский горком.

И к вину его приохотил тоже Корсавели, то Корсавели порядочный был выпивала и кутила и чуть не спил нашего Вахтанга Петровича.

Поздним вечером, закончив рабочий день, Тэдо со своими собутыльниками закатывался в ресторан; либо в Балахвани, либо на Мцванэ Квавила, ведь у него в каждом квартале Кутаиси были друзья-приятели, свои люди, нынче он пировал на Архиерейской горе, завтра — на Сапичхиа, и повсюду возил с собой Вахтанга Петровича.

Эх, золотое времечко было, золотое!..

Хваленое кутаисское хлебосольство выковало и закалило Вахтанга Петровича. Там, в бесконечных застольях, завершилось его становление. Он и поныне плачет по Кутаиси и кутаисским кутежам, и где бы ни находился (а судьба куда только его не забрасывала!), в Душети или Цители-Цкаро, в Местиа или в Ланчхути, в Кеда или Поты, всюду вспоминает он Кутаиси и всюду поднимает бокал в его честь... И не раз кажется ему, будто сидит он в знаменитом кутаисском духане у Белого моста, над самым Риони, и глядит на шумную бурную реку...

Эгей, как много времени прошло!..

Эгей, как разбросала жизнь друзей его юности! Где вы теперь, годы золотые, ребята удалые?! Да и какие уж вы ребята, каждому небось за шестьдесят! О-о, время, время, как ты неумолимо!..

Долго бродили они по пустым ухабистым улицам Самеба и под конец подошли к коттеджу Вахтанга Петровича.

Секретарь жил в центре. В бывшем школьном саду, за зданием райкома стоял двухэтажный дом. Перед домом был разбит цветник, который отделяла от улицы невысокая кирпичная ограда. Вахтанг Петрович присел на выступ ограды, вытянул ноги (устал от ходьбы) и вдруг спросил своего спутника:

— А что, товарищ Малхаз, если мы вас и вправду переведем в райком?

Вопрос для Малхаза был неожиданным, но лишь

Георгий Цицишвили. Одолей алчность свою.

в данную минуту, ибо сам он не раз о том ^{домыш-}лял, а в последнее время даже и мечтал. И когда Бежико за столом открыто заговорил на эту ^{иногда} новую тему, у Малхаза сердце екнуло.

Сейчас тоже у него все внутри перевернулось. Радость захлестнула его с головой, сердце подкатило к самому горлу.

Но разве Малхаз был бы Малхазом, если бы проявил свое состояние! Опустив голову и потупив взор, молча стоял он перед Вахтангом Петровичем и изучал парусиновые туфли секретаря.

Вахтанга Петровича обрадовало молчание Малхаза. Он ведь все опасался, как бы молодой человек не оказался нетерпеливым и поспешным, как бы не принял его предложение вот так сразу, с ходу.

Да, выдержка Малхаза понравилась секретарю, и про себя вопрос он уже решил.

— Что задумался, юноша, или затрудняешься с ответом?

— Да, батано Вахтанг, очень даже затрудняюсь...

— Отчего же, дорогой, не партийная ли работа является венцом всего?

— Это, конечно, верно, однако меня привлекает педагогическая деятельность. Я очень люблю школу, работу с детьми...

— Вот и хорошо! Мы тебя направим по линии школьного образования! Народное образование очень ответственный участок партийной работы. Здесь нам необходимы именно те люди, которые знают и любят школу...

— Батано Вахтанг, дайте мне немного времени, чтобы подумать... не заставляйте решать сразу...

— Хорошо, думай до завтра, а завтра в два часа дня жду тебя в райкоме.

Той ночью оба долго не спали, оба беспокойно ворочались в своих постелях.

Малхазу не спалось от радости. Судьба, которую он только и укорял за дурное к себе отношение, нынче повернулась к нему лицом. Он был уверен, что работа в райкоме — это нечто вроде золотого ключика, трамплин для быстрого и несомненного преуспевания.

Секретарь представлялся ему человеком, который не стал бы долго мариновать в райкоме такого мас-

штабного работника, каким он себя мыслил. И конечно, его вскорости переведут в Тбилиси на руководящую должность, а там... ах, если бы и там у него появился покровитель!..

У Вахтанга Петровича же возникла еще одна, весьма завлекательная идея: а что если женить этого бугая на моей Лике? — подумал он. — Парень и собой хорош, и, видать, разумный, не чета всяким вертопрахам, и семья у него состоятельная... хо-хо, дай бог какая состоятельная!.. Единственный сын... Я проторю ему путь в городе, а здесь, в районе, папенька не поскупится. Материальная база семьи будет обеспечена.

Если я или Малхаз оступимся, Годердзи нас поддержит. У него, брат, мощна тугая, не приведи бог, конечно, но если я на чем-то шею себе сверну, он до конца дней всех нас прокормит,—размышлял Вахтанг Петрович, рассчитывая и прикидывая дальнейшее. И чем больше он над этими своими планами думал, тем больше они ему нравились.

Идея эта возникла у него, правда, не сейчас, но поначалу она явилась как нечто туманное и аморфное, а в ту ночь все эти мысли так четко оформились и так властно им завладели, что стало ясно: теперь уж он не успокоится, пока не осуществит задуманного.

Совершенно очевидно, что Лике нужен рассудительный, уравновешенный муж — именно такой, как Малхаз. Она взбалмошна, капризна, несдержанна в гневе... Никто, кроме деревенского парня со здоровой нервной системой, ее не выдержит. А этот Малхаз производит впечатление терпеливого, надежного и основательного человека. Вероятно, как любому провинциалу, и ему не чуждо некоторое честолюбие, ну что ж, это-то как раз и хорошо...

Вахтанг Петрович прекрасно знает нрав честолюбцев. Он этому увальню такие сети расставит, такую приманку подбросит — Малхаз превратится в сплошное желание схватить эту приманку как можно скорее.

«Нет, Малхаз, не уйти тебе от Лики! И ее ведь

жалко, муж-то от нее сбежал, бросил... и вот — под-
ходящий жених, которого никак нельзя упустить!
Именно такой человек ей нужен, именно он ей под-
стать. Лика, Лика, девочка моя родная, если бы ты
знала, как любит тебя твой отец! Ведь дороже тебя
у меня в целом свете никого нет...»

Малхаз тоже думал о Лике.

Он знал ее в лицо, встречал раза два... кое-что
и слышал о ней со стороны...

А что если начать ухаживать за красивой и свое-
нравной секретарской дочкой? Может, что и получит-
ся у него с ней. Она девица, видать, разбитная, сме-
лая и бойкая. Гоняет на своей зеленой «Волге», да
так, что, говорят, за полтора часа из Самеба в Тби-
лиси прикатывает.

Раза два она и аварию сделала. Он слышал как-
кую-то нехорошую историю, якобы на Военно-Гру-
зинской дороге Лика сбила человека, но Вахтаг Пет-
рович замял это дело. Да, Вахтаг Петрович, видать,
все может... Силен... Пожелай он, как знать, может,
Малхаз и в министерском кресле очутится...

Лика, Лика... хороша, чертовка, но какие жест-
кие у нее глаза! Как у тигрицы глаза. Как поведет
ими, как взглянет, дрожь пробирает...

И фигура у нее что надо, и ноги стройные, силь-
ные... Когда идет по улице, у встречных мужчин шея
набок сворачиваются. Не идет, несет себя, и с каким
достоинством, как гордо держит свою изящную голову
с гладко зачесанными блестящими волосами, — точ-
но царица идет! Порода чувствуется в ней с первого
взгляда...

Мать ее, оказывается, из рода Дадешкелиани. Эта
самая мать и перевернула ей жизнь, с мужем разве-
ла. Гордячка из гордячек. Калбатони Дигорхан, или
Мариам, или, как она сама себя окрестила, Виола,
говорят, меняет любовников, как платья, а платьев у
нее — не счесть, каждый день в новом щеголяет...

Она мнит себя чуть не первой красавицей в Тби-
лиси, и так поглядывает своими большими зелеными
глазами, точно хочет сказать: «Фу, что за отврати-
тельное создание этот мужчина!». Калбатони Виола
и вправду очень часто произносит подобные фразы.
У нее с уст не сходит «отвратительный», «ужасный»,

«безобразный» и «плебей». «Тихий ужас», — для пушечей светскости по-русски вставляет она и при этом кривит лицо в такой гримасе—ни дать ни взять макака, разжевывающая хинин.

Что скажет калбатони Виола, когда узнает, что Малхазу приглянулась ее Лика и он метит в зятя? Малхаз прекрасно знает, что и он сам, и вся его семья для Виолы — одно мужичье, «плебс».

Но сама Лика?.. Да разве поймешь ее, эту Лику! Она будто парит где-то в поднебесье, и даже когда кажется, что на тебя смотрит, и то не поймешь, действительно ли на тебя устремлен ее взор, или куда-то вдаль, сквозь тебя..

Сумеет ли он завоевать ее сердце? Не простое это дело...

И вообще, стоит ли пытаться? Если уж начистоту говорить, какие такие у него достоинства, чтобы он смог привлечь эту избалованную особу?

Размышляя над этим заковыристым вопросом, Малхаз каждый раз обращался к прошлой своей жизни и в подробностях восстанавливал весь пройденный им путь. Причем теперь он все мерил строгими мерками калбатони Виолы. Он уже настолько привык оценивать предметы и людей так же, как она, что невольно во всем опирался на суждения и мнения этой женщины (какими он их предполагал!).

Прошлая жизнь Малхаза не поражала богатством событий, да и что за такое прошлое могло быть у парня его возраста. Школа, университет — и вот, наконец, всего несколько последних лет самостоятельной, однако не независимой жизни.

Что должен был успеть он за это время? Хотя, по его же собственному убеждению, минувшие годы все-таки не выявили всех тех способностей и возможностей, какими он обладал. Сам он был о себе гораздо лучшего мнения, нежели можно было судить по его успехам.

Школу, где все педагоги прочили ему большое будущее, он закончил блестяще. Затем так же блестяще сдал приемные экзамены в Тбилисский университет, без какого бы то ни было тайного или яв-

ного содействия и помощи по всем предметам получил пятерки.

Когда он был на третьем курсе исторического факультета, его представили на именную стипендию. Однако у него объявился сильный соперник, которому в конце концов и была присуждена стипендия имени академика Иванэ Джавахишвили.

Что греха таить: это поражение Малхаз не считал поражением, он знал, что отец конкурента — человек влиятельный, занимающий большой пост. Малхаз утешился тем, что решил: деканат и ректорат не захотели обижать этого человека.

Университет он окончил с «красным дипломом», но, к несчастью, при распределении мест в аспирантуре на специальность «всемирная история», которую избрал и к которой готовился Малхаз, не выделили единицу. Поэтому он был вынужден перенести свое заявление об участии в конкурсе на специальность «история Грузии».

А здесь кандидаты были уже отобраны.

Однако и эта неудача не сломила его. Все свои надежды он возлагал на следующий год. И правда, на следующий год выделили место на «всемирную историю», но, к несчастью, в выпуске того года оказались двое студентов, сильных по всем статьям настолько, что превзойти их он уже не мог.

Но уж эта неудача сильно подействовала на Малхаза. Долго он ходил, точно оглушенный, не зная, что предпринять и куда податься, интерес к научной работе он утратил, да и ничто другое сейчас его не влекло.

В течение тех двух лет, что он готовился к аспирантуре, он снимал комнату в частном доме и, живя на иждивении отца, чувствовал себя вольготно и беззаботно.

Дом, в котором он поселился, находился в конце улицы Белинского, у подножия Мтацминда. Отсюда почти весь Тбилиси виден был как на ладони.

Весной, когда склоны Мтацминда покрывались зеленью, а во дворе зацветали миндальные деревья, у Малхаза уже не лежала душа к книгам, он часами просиживал на балконе и, точно как отец, глядел в даль, на противоположный край города, где на скло-

не горы Махата виднелись такие же маленькие домики с крытыми балкончиками. Юный Зенклишвили любил их созерцать.

В первую же весну у Малхаза пробудилось сильное стремление к музыке. Сын его домохозяина, студент Грузинского политехнического института, был в то же время гитаристом в знаменитом эстрадном оркестре того же института и большую часть времени посвящал музыке, а не книгам. Малхаз долго слушал упорные экзерсисы своего ровесника и в один прекрасный день выразил желание научиться играть на гитаре.

Как велико было удивление соседей и самого Малхаза, когда спустя всего лишь несколько недель занятий ученик почти не отставал от своего учителя.

Прошло еще немного времени, и молодой самец настолько овладел гитарой, что товарищи сына домохозяина специально приходили послушать его и даже пригласили его в институтский оркестр.

Унаследованный от отца слух и редкая природная музыкальность проявились, быть может, и позднее, чем следовало, но как бы то ни было, талант Малхаза раскрылся в полную силу.

Однако он пока что хранил втайне свое увлечение. Уезжая в деревню, гитару оставлял в Тбилиси, и родителям было совершенно невдомек, что их сын наделен столь волшебным даром.

И Годердзи, и Малало узнали о том лишь тогда, когда однажды за столом очарованный Вахтангом Петровичем и вошедший в азарт кутежа Малхаз потребовал гитару и исполнил увертюру к «Кармен», совершенно покорив и изумив присутствующих. Его сильные руки с длинными пальцами так летали по струнам, что любой профессионал мог бы позавидовать.

Но Малхаз не только играл на гитаре. Обладая приятным баритоном, он хорошо пел.

Голос его напоминал отцовский, был такой же звучный и бархатный.

Малхаз выучил несколько цыганских песен и старинных русских романсов и исполнял их так проник-

новенно и задушевно, что слушатели были в полном восторге.

Говорят, аппетит приходит с едой.

Вскоре Малхаз, желая овладеть искусством пения, начал брать частные уроки у бывшего солиста оперы, который, простившись со сценой, преподавал в консерватории. Разумеется, это удовольствие, так же как и занятия английским и французским языками, оплачивалось из щедрого кармана любящего отца. С тех пор Малхаз приобрел большую известность в кругу студенческой молодежи. Юноша приятной наружности, обладающий столь притягательными достоинствами, сделался желанным гостем во многих домах, неизменным участником не только импровизированных студенческих пирушек, но и званых обедов и вечеров.

Малхаз приобрел много новых друзей и, домосед по природе, редко стал бывать дома.

В одном обществе он познакомился с первым заместителем министра строительства объектов легкой промышленности, доктором наук Иполитэ Сабанадзе, заядлым кутилой, которого больше всего на свете забавило, как бы повеселее провести время. Он был охотником хорошо поесть и выпить, и готов был день и ночь сидеть за столом.

Иполитэ собрал вокруг себя таких людей, которые кроме того, что обладали некоторыми знаниями по специальности, любили и умели «проводить время», то есть кутить направо и налево.

Из этих «приближенных» человек пять-шесть и вправду были прекрасными певцами, и эта группа носила имя «сабанадзеvского ансамбля». Где бы ни кутил Сабанадзе, «ансамбль» всегда был при нем. Погруженный в нирвану сладостных звуков грузинских песен, заместитель министра всякий раз сгорал, как бабочка, в огне удалого грузинского застолья.

Услышав на одном из кутежей игру и пение Малхаза, темпераментный Сабанадзе пришел в такой восторг, что тут же решил зачислить юношу в «ансамбль» и сделать его своим сотрудником и сотрапезником.

Желанию Сабанадзе не противился и сам Малхаз: к тому времени он вторично потерпел фиаско с

аспирантурой и ему стало совершенно ясно, что он должен искать какой-то другой путь в жизни.

Однако специальность Малхаза заставила надзе призадуматься: историк — и вдруг министерство строительства объектов легкой промышленности! Как же быть? Выход подсказал сам Малхаз, сообщив своему благодетелю, что он довольно сносно знает английский и французский и может переводить с этих языков.

Сабанадзе от радости был чуть не на седьмом небе и сразу же приступил к устройству Малхаза переводчиком.

Заместитель министра, любивший и умевший безотлагательно осуществлять свои решения, специально слетал в Москву, чтобы получить санкцию на открытие в министерстве сектора информации и, как он говорил, «выбить» штаты для группы переводчиков.

Вскорости дело завершилось: согласно специальному приказу союзного министерства, республиканскому министерству строительства объектов легкой промышленности были выделены пять штатных единиц переводчиков. Руководителем группы был назначен Малхаз Годердзиевич Зенклишвили.

Несмотря на страшную тесноту рабочего помещения министерства, для группы переводчиков были высвобождены две маленькие комнатки на четвертом этаже.

Более четырех лет проработал Малхаз Зенклишвили в министерстве. За эти годы время, проведенное им в кутежах и пирах с Сабанадзе, самое меньшее, во сто раз превосходило часы, потраченные на перевод специальной литературы.

В комнатки, выделенные для группы переводчиков, он заглядывал всего лишь несколько раз. Поскольку эта группа непосредственно подчинялась первому заместителю министра, никто не смел им слова сказать.

Да не только что руководителя группы, никого из рядовых ее сотрудников невозможно было застать на месте. Из четырех сотрудников только один «работал» переводчиком, но, поскольку этот переводчик,

вернее, переводчица, знала всего один язык — грузинский, к тому же она была дочерью члена правительства республики, ее не беспокоили, и она являлась лишь в день зарплаты, да и в эти дни не утруждала себя восхождением на четвертый этаж, так как касса находилась на первом.

Из трех остальных штатных единиц на две были оформлены референты министра и первого заместителя министра, а на третью оформляли то одного кого-то, то другого; злые языки поговаривали, что зарплату, положенную на этот штат, расходовали для приема приезжавших из всесоюзных главков гостей.

Вообще следует отметить, что благодаря Иполитэ Сабанадзе в министерстве умели достойно встречать гостей. Особенно, ежели эти гости приезжали на ревизию. Тогда каждый «ревизионный» день завершался недолгой, но обильной и изысканной трапезой. Трапезы бывали отличные, тем более, что не надо было искать ни тамаду, ни певцов: Сабанадзе не занимать было красноречия, а членам его «ансамбля» — искусства и мастерства...

Душой этих «деловых встреч» был Малхаз. Когда гостям уже не доставляла удовольствия ни кахетинская «Мравалжамиэр», ни имеретинская «Цхеноснури», ни гурийская «Хасанбегура», ни мегрельская «Одоиа», ни сванская «Лилео», ни аджарская «Макрули», ни рачинская «Асланури» и, представьте, даже ни картлийская «Чакруло», — тогда Иполитэ Акакневич делал Малхазу знак глазами, то бишь подмигивал, — и аргентино-французско-испанско-итальянские песни, виртуозно исполняемые Малхазом под аккомпанемент гитары, модуляции его вкрадчивого, за душу берущего голоса приводили захмелевших гостей в неопиcуемый восторг, они ревели «бис» и «браво» и клялись в любви к Грузии.

За те четыре с лишним года, что Малхаз «проработал» в министерстве, он почти полностью забросил историю, которой раньше так увлекался, но старая любовь все же не совсем погасла. В свободное от трудов праведных время он садился за книги и читал, пока назойливые друзья-приятели не отрывали его силой и не уводили в шум и гомон очередного кутежа.

В период таких занятий любимой наукой, урывка-

ми, в перерывах между кутежами, Малхаз, представив-
те, задумал написать историю родного села, для чего
го он перечитал множество старинных хроник, лето-
писей, древнейших грамот. В случае если исследова-
ние оказалось бы достойным, он намеревался пред-
ставить его на соискание ученой степени как диссер-
тацию, однако месяцы мчались дикими конями, а у
него для серьезной работы не хватало ни времени, ни
энергии.

Вот когда он понял, что кутежи куда более утом-
ляют человека и забирают куда больше сил, чем ум-
ственный труд.

Уразумев эту истину, он совершил поступок, за-
служивающий всяческой похвалы: решил покинуть
Тбилиси и переселиться в Самеба.

Там ждали, не могли дожидаться ненаглядного
сына родители...

Там мог бы протянуть руку помощи и Вахтанг
Петрович!..

Там пустовал в отсутствии наследника комфор-
табельный отцовский дом...

Там могла начаться совершенно иная жизнь...

Переселение Малхаза в деревню, вероятно, уско-
рило и то обстоятельство, что дочь начальника одного
из управлений министерства оказалась от него в по-
ложении.

Правда, злопыхатели поговаривали, что эта ми-
ловидная девица на выданье не впервой оказыва-
лась в таком положении, но на этот раз братья ее,
забияки и громылы на подбор, занимающие в то же
время довольно высокие служебные посты, распету-
шились не на шутку и пригрозили Малхазу выпустить
кишки, если...

Весной 1967 года блудный сын, имея тридцать лет
от роду и привлекательную наружность, с одной ги-
тарой за плечами и модным чемоданчиком в руках
вернулся в родное село.

Конец первой части



ДВА БЕРЕГА

Издали я гляжу на тебя, спокойную и безгрешную.
И чем дольше гляжу, тем труднее мне
тело твое

отличить от тела черешни,
цветущей на той стороне.

Я отвернулся бы, если б меня не удерживал твой
взгляд.

Я убежал бы в лес
или с разбитой грудью
оказался в объятиях пропасти
и никогда не вернулся назад,
если б меня не удерживал твой взгляд.

Меня тоже выбросила река,
но на моем берегу
все друг на друга похожи —
и каждый дом, и каждый прохожий,
оглядевший меня на бегу
убийственными глазами.

Здесь только клыками можно выиграть бой.
Здесь начинаешь думать, что душа — это не свет, а
знамя,
которое побежденный должен поднять над собой.

●

Ночные эшелоны мчат
и оставляют едкий чад
сомнений темных и тревоги.
Никто не спросит их — куда?
Но содрогается вода
и тихий домик у дороги.
Мелькнул фонарь проводника.
Он движется издалека,
в шинель укутавшись плотнее.
Повсюду ночь и ни души.
Мерцают рельсы, как ножи.
И даже лесдохнуть не смеет.
Мчат эшелоны. Всюду темь.
Бредет не проводник — а тень

его вдоль насыпи дорожной.
Еще не занялась заря.
И свет неяркий фонаря
ему, что посох осторожный.




●

Меня там нет.
Там есть ночная лампа.
Она склонилась над листом бумаги,
как над бездонною могилой мысли.
Там все покрыто пылью.
Вниз лицом
валяется зачитанная книга.
Среди ее страниц живет паук
и сеть плетет в неясном направлении.

Меня там нет.
И на какое время
покинул эту комнату — не знаю.
Не ведаю, когда открою дверь
запущенного ветхого жилища.
Меня там нет.
И каждая минута
под старым потолком — тоска по мне.
А в коридоре, точно жеребенок,
приткнулся детский мой велосипед.

●

Столовая у железной дороги,
воняющая запахом табака, помоев и многих,
кто, скрипя половицами, здесь обивал пороги
и без сожаления уходил, поев, —
теплой была и вечно голодной, как хлеб.
И это понятно, в итоге.
Там каждый был привязан к своим яслям.
И я увидал однажды, как вечерний дрогнул свет
и из осеннего пейзажа, который был
удивительно тихим и ясным,
вышел он —
темная капля пространства без особых примет.
Он распахнул дверь ударом ноги
и направил на жующих нас
взгляд своих вызывающих глаз,
черных, как ямы, в которых не видно ни зги.



Но каждый был привязан к своим яслям
И предавался жвачке, не предаваясь мыслям.
Все были заняты пойлом, потому что привыкли так.
И никто не слышал, как, войдя, он крикнул:
«Трудно существовать, как трудно существовать!» —
И о грязный стол
свой раскрошил кулак.
Он ничего не спросил и ушел,
прижимая к себе
полинявшую старую шляпу. И уже десять лет
он идет, растворяясь в осеннем пейзаже,
как будто в судьбе.
И сквозь воздух вечерний
я гляжу ему вслед.

ВОЗДУШНЫЙ РЕЙС

1.

Я помню хорошо, о чем я думал,
когда у края взлетной полосы
мой самолет встал на дыбы, как лошадь.
Вдруг из ладоней просочился страх.
Они прилипли к поручням. И сердце
на миг остановилось. А сознание
внезапно опустело, точно город
в минуту объявления тревоги...
Я помню хорошо — мне не хотелось
быть одному. Я попытался думать
о чем-то лучшем:
о траве хотя бы, которая сквозь десны борозды
пробилась наконец, как зуб младенца,
и о тебе...
Но даже о тебе я думать не сумел.
Потом пришел
похожий на агонию покой.
Не может быть, чтоб это был конец...
Не может быть, чтоб это был конец...
Не может быть... не может быть... не...
...может.
Так душу разрывали пополам,
как два магнитных полюса — два чувства.

Я был на все согласен.
Равнодушно
я наблюдал за колебанием чаш
разболтанных весов небытия
и бытия,
напоминавших двух петухов,
уже готовых к бою.

2.

Мы привыкаем ко всему, похоже.
Но главное, чтоб выдержало сердце,
включаясь в сеть с высоким напряженьем.
Тебе пока еще не надо знать,
как на людей охотятся — без пули.
О, сердце, сердце — лучшая мишень
в кромешном тире повседневной жизни.
«Мой друг, поберегите ваше сердце, —
из медицинских книг взывает некто, —
и помните: в один прекрасный день
вам ваше сердце может отказать...»
Благодарю вас, дорогой профессор.
И вы мне в сердце самое попали,
когда тот день (а может быть, ту ночь)
прекрасными назвали, не заметив.
А сердце бьется. И опять, опять
висит в проклятом ежедневном тире.
В один «прекрасный» день оно сорвется
и станет падать.
И рука хирурга
подхватит это сердце, точно камень,
отяжелевший камень придорожный.

3.

Твой голос слышу,
но откуда он? —
Потерян счет часам и километрам.
Мы реками ленивыми долин разделены,
озерами, а также
туманной мглой лиственного леса,
дорогами, которых я не знаю,
шлагбаумами, рвами, бездорожьем.

Потерян счет часам и километрам
среди полей, изборожденных ливнем,
среди разверстых пашен и ветров,
и городов, подернутых ненастьем,
и съжившихся мокрых деревень...



4.

Что померещилось тебе, когда
ты вздрогнула во сне?
Мы миновали
ночной неимоверный океан.
Шасси раскрылись.
Прямо под крылом — ромашками покрытая поляна.
Не беспокойся.
Значит, не теперь
конец назначен моему скитанью.
И, значит, много раз к твоей груди
я буду припадать лицом усталым.
Что померещилось тебе, когда
ты вздрогнула во сне?
Внезапный ветер
обрушился на крылья самолета.
Я увидал: незримая рука,
как лампочку, звезду зажгла на небе.
Вдохнула ночь и миллионом звезд
вдруг посмотрела в сторону мою.
Ты далеко была. Но даже здесь
во всем твоя угадывалась близость...
Так знает лист о приближенье ветра.

5.

Что померещилось тебе, когда
ты вздрогнула во сне?
Летит машина.
И наподобье гончей, взявшей след,
свет фар лётит по мокрому асфальту.
Я разбуду тебя гудком внезапным
и побегу сквозь спящий сад к окну.

Перевод Наталии СОКОЛОВСКОЙ



КОГДА произошла эта история, мне едва минуло шестнадцать, и та высокая, с морщинистым лицом женщина мне казалась глубокой старухой. Вероятно, так оно и было: к тому времени Елена Багратовна была уже вдовой, а вдовушек успела похоронить и единственного сына. Ее муж, князь Гарсеван Амилахвари, был царским генералом. Он погиб на турецком фронте, его останки перевезли в Тбилиси и похоронили с большой помпой. А сын, двадцатичетырехлетний Торнике, окончивший медицинский институт, был заядлым альпинистом. Он возглавил группу начинающих альпинистов, примерившихся к какой-то трудной вершине Кавказа. Вершину молодые покорили. Но при возвращении Торнике не совсем удачно вбил в лед какой-то металлический крюк, он сорвался, и парень почти с двухсотметровой высоты упал на скалы. Грузинский альпинистский клуб следующей весной снарядил специальную экспедицию, которая с великим трудом обнаружила и доставила в Тбилиси останки погибшего.

Известному грузинскому писателю Рамазу Кобидзе, автору множества рассказов и романа «Листья папоротника», исполнилось 60 лет.

Редакция и редакционная коллегия «Литературной Грузии» сердечно поздравляют юбиляра и желают ему здоровья и новых творческих успехов.

Рамаз КОБИДЗЕ

СТАРАЯ ИСТОРИЯ

●
Р а с с к а з
●

Перевод с грузинского.

Словом, Елена Багратовна была старой женщиной. Правда, сейчас, вспоминая гордый, прямой взгляд ее огненно-черных глаз, понимаю, что в ней было еще очень много жизненных сил, которые, увы, ей уже не к чему было приложить.

— Успел бы мой Торнике обзавестись сыном, а! — грустно проговорила она как-то, сидя рядом со мной на берегу реки Абастуманки.—Могло бы ведь так быть...

Мне нечего было ей ответить.

Наша дружба началась несколько странным образом.

По воскресеньям в Абастумани бывал большой базарный день. Из Ахалцихе привозили фрукты, которые славились на всю Грузию. Через Зекарский перевал перебирались мегрелы и привозили молочный сулугуни; из Ахалкалаки привозили цыплят, из Ацкури—огурцы, из других сел и деревень — дыни, зелень, сыр, масло... Одним словом, базар был неслыханно богатый и сравнительно недорогой. А я страдал безденежьем — эту болезнь я подцепил еще до туберкулеза и до сих пор не могу избавиться от нее. Слонялся по базару без дела и помогал — то продавцу какому-нибудь, то покупателю, скорее, конечно, советами и внушениями, чем какой-либо более реальной помощью. К полудню, когда базар начинал пустеть, тратил один рубль или самое большее — полтора рубля и приносил в свою оклеенную голубыми обоями комнату сулугуни, огурцы, какую-нибудь зелень.

Инспектор базара, вечно небритый, взъерошенный татарин Абдулла, что сидел на своем стуле у самой дороги, посмотрит, бывало, мне вслед, почему-то вздохнет очень шумно и покачает головой. Что этому Абдулле было нужно от меня? Жалел он меня? Или, наоборот, я ему ужасно не нравился? Не знаю и по сей день. Однажды я попытался выяснить наши отношения и решил было поздороваться с ним, но не тут-то было. Абдулла грозно повел на меня глазами и демонстративно отвернулся, давая мне понять, мол, нечего мне кивать, я много видел подобных тебе желтолицых, что приезжают в Абастумани с пустыми карманами, рассчитывая лишь на здешний воздух...

Что мне оставалось делать? Пошел я своей дорогой, и с того дня входил на базар с другого входа.

Как-то раз тоже бродил я по базару. И черт меня дернул прицениться к цыплятам, которыми с самого утра весьма успешно торговал тучный ахалкалакский армянин. У него оставалась пара цыплят. Он неспешно пересчитывал деньги и косо взглянул на меня.

— А ты что, хочешь купить?

— Конечно.

— Пара три рубля.

— Дорого.

— Что-о?

— Говорю, дорого.

— Ты посмотри! С утра продаю по два рубля штук, все абастуманские хозяйки сегодня — мои покупатели, и еще никто не сказал, что дорого.

— Я не хочу пару.

— А ты возьми одного. На! Какого тебе? Того? Или этого?

— Я...

— Ну, рубль двадцать. Выбирай! Этот? Или тот?

Он орал так, что люди стали оглядываться. Я готов был провалиться сквозь землю. Ведь я и не думал покупать цыплят. Кто бы мне их приготовил? А кроме того, уплати я столько денег за цыпленка, на какие шиши я бы стал покупать в последующие дни хлеб, яйца, масло? Но отступить было уже поздно. Торговец отдавал цыпленка прямо даром, причем орал так, что люди собирались. Я огляделся по сторонам и увидел Абдуллу, который смотрел на меня, грозно насупившись. В те минуты я ему явно не нравился. Это все и решило. Отдал я армянину рубль двадцать и прижал к груди черного, довольно большого цыпленка.

— Возьми уж и этого, — армянин взглянул на меня исподлобья.

— Не хочу.

— За рубль! На! — торговец куда-то торопился.

— Да нет, не хочу.

— Дело твое, — он намусолил пальцы и снова принялся пересчитывать деньги.

Ушел я с базара сам не свой. Даже не помню, про-

шел мимо Абдуллы или шел другой стороной — по-дал речкой. Казалось, будто весь базар, все хозяйки, торчавшие вокруг на балконах, дети, старики — все взглядели на меня и ехидно посмеивались — поделом, мол, тебе, чего слоняешься по базару без денег, всучили тебе этого черного цыпленка, вот и делай теперь что хочешь.

С трудом я одолел двести шагов до моего дома и заглянул на кухню.

— Пожалуйте, — хозяйка, сорокалетняя, толстогубая Саломэ привстала, остановилась передо мною, коротко хохотнула. — Это что? Никак цыпленка купил? Ого! Не ожидала!

— Может, что-нибудь приготовишь?

— Почему же! Могу. Покажи-ка. Ничего цыпленок. Смотри на него! Ты парень не промах. Можно зажарить, можно и чахохбили... Тебе что больше нравится?

— Мне все равно.

— Сделаем чахохбили. Всего-то делов — две луковицы. И времени мало надо. Ну, слава богу, что ты курицу купил. На одном хлебе и сырых яйцах, милый, долго не протянешь. Воздух — хорошее дело, но и еда нужна. Ну-ка, бери топор, вон он.

— Луку сколько надо?

— Сколько надо, это мое дело. Не иди же тебе опять на базар. А на будущее знай, для такого цыпленка нужны две хорошие луковицы, полфунта масла, да еще помидоры. Чахохбили будет — пальчики оближешь.

Саломэ прибавила к столу зелени, сыру. Чахохбили получился на славу. Но настроение у меня не улучшилось. Напрасно утешал я себя, что, мол, ничего плохого я не сделал, никого не убил, никого не ограбил. Куда там!.. А тут еще Саломэ — болтала без умолку! Потом встала, вроде хотела что-то взять со стола, прислонилась ко мне своей пышной грудью, жадно заглянула в глаза. Еле я дождался конца обеда. Ушел в свою комнату, бросился на кровать. На кухне Саломэ возилась с посудой. Потом она бросила посуду, подошла к моей двери, прислушалась. Я даже слышал ее дыхание. Вконец расстроившись, я встал, сбегал по лестнице, пошел к берегу Абастуманки. В послеобеденное время там не было ни души.

Лицом к речке на большом камне сидела седая представительная женщина. Сложив руки на груди, она неподвижно глядела на противоположный берег. Когда я прошел мимо нее, она даже не шелохнулась и, видно, не заметила меня. Потом, услышав мои шаги, повернула голову и внимательно поглядела на меня.

Эту женщину я мельком видел сегодня на базаре как раз когда был занят торгом с продавцом кур.

Настроение у меня было скверное. Но я взял себя в руки. Мне показалось, что эта пожилая дама находится в каком-то затруднении. Поэтому я замедлил шаг, как бы желая сказать этой пожилой даме — мол, если вам что-нибудь нужно, я к вашим услугам. Она, оглядев меня, величественным жестом пригласила сесть. Я послушно присел возле нее на такой же огромный желтоватый валун.

Довольно долго мы оба молчали. Потом она достала папиросу, закурила и посмотрела мне в глаза.

— Что скажете, молодой человек?

— Ничего... — я слегка пожал плечами, покраснел. Я понял, что она видела все то, что случилось на базаре.

— Успокойся, сынок. — Она указательным пальцем сбила пепел с папиросы. — Тебе кажется, что небо разверзлось... А между тем ничего такого не произошло. Не надо обращать внимания на подобные пустяки.

— Я и не обращаю.

— Вот и хорошо. В Абастумани ты один?

Она опять заглянула мне в глаза. У нее, видно, была такая привычка: что-нибудь спросит и в ожидании ответа смотрит тебе прямо в глаза.

— Да.

Она несколько раз неспешно кивнула.

Помолчали.

— А знаете, что меня интересует?..

— Что?

— А... Да нет, ничего...

— Ха-ха-ха! — Моя собеседница коротко и как-то по-доброму рассмеялась. — Я же говорю тебе, успокойся. А ты все еще переживаешь.

— Я спокоен!

— Вот и хорошо. Поддай-ка мне руку.

Я вскочил, подал ей руку. Женщина оперлась на нее, поднялась.

— Ты здесь ждешь кого-нибудь?

— Нет, никого.

— В таком случае, если хочешь, проводи меня.

— С удовольствием!

Мы не спеша пошли по берегу.

— Жалуешься на легкие?

— Да.

— Что-нибудь серьезное?

— Вроде нет пока. Врачи посоветовали подышать здешним воздухом и побережься.

— Да, здешний воздух целительный. Родители есть у тебя?

— Есть. А вы?

— Что — я?

— И вы жалуетесь на легкие?

— Нет, сынок. В Абастумани я приехала вспомнить молодость. В молодости приезжали мы сюда с мужем, на именины великого князя. Теперешний второй санаторий — это бывший его дворец. Тебя как звать-то?..

— Теймуразом.

— А меня — Елена Багратовна. Да... Здесь ничего не изменилось. Я даже деревья вроде как будто узнаю. Ты где живешь?

— Вон, за деревьями.

— А я — в этом доме.

У поворота, шагах в пятидесяти от дороги, стоял двухэтажный голубой дом. Я много раз проходил мимо него, но ни разу не видел там Елену Багратовну.

— Я приехала позавчера, — будто в ответ на мой вопрос проговорила она.

— Ваш дом хороший. Какой-то уютный.

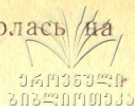
— Да, ничего... Ну, молодой человек, спасибо за приятную компанию. С сегодняшнего дня в Абастумани у нас у каждого прибавилось по знакомому. Ведь так?

— Конечно!

— До свидания! Наверное, встретимся еще.

Я пожал протянутую руку.

Она медленно направилась к своему голубому дому.



Прожив почти две недели у Саломэ, я ни разу не удостоился ее внимания. Более того, мне иногда казалось, что эта женщина втайне смеялась надо мною, над моей застенчивостью, над моими скудными финансовыми возможностями. А в тот вечер, едва я успел войти в свою комнату, как раздались осторожные шаги. Я выглянул и увидел у дверей Саломэ. Прижав руку к губам, она смотрела на меня блестящими глазами. Встретив мой удивленный взгляд, она быстро оглянулась, вошла в мою комнату, присела на стул, натянув юбку на круглые колени.

— Добрый вечер!

— Здравствуй!

— Ты где был?

— У реки.

— Я видела.

— Зачем же спрашиваешь?

— Так. Если ты устал, приляг.

— Ничего.

— Спать хочешь?

— Нет.

— Хочу что-то сказать тебе...

— Говори.

— Это... Но сперва скажи, почему вы, мужчины, все такие?

— Какие?

— Будто не знаешь!

— А что я должен знать?

— Ничего. А она кто такая?

— Кто?

— Да та женщина.

— Какая та женщина?

— А с которой ты гулял.

— Той женщине за семьдесят.

— Рассказывай!

— Серьезно.

— Издали не видно. Нет, вообще-то она вроде совсем седая.

— Совсем седая и есть.

— Зачем же ты за ней увязался?

— Увязался?!

— Или сама приставала? Туберкулезницы, они все
такие.

— Она не туберкулезница.

— А кто же?

— Никто.

— Ну да!

— Саломэ!

— Что?

— Больше тебе не о чем говорить?

— Почему же!

— Ну.

— Можно и о другом, конечно, но... Эх!.. Нет, когда это вы успели, а? Я же не сводила глаз с тебя. Как только ты вышел со двора, я бросила мыть посуду и побежала за тобою. Вот тут, за горкою присела. Не прошло и десяти минут, вижу, идете, как миленькие. Когда вы успели?

— Что — мы успели?

— Эх!.. Вот какие вы, мужчины. Знаешь что, Теймураз? К человеку надо хорошенько приглядеться. Сначала узнай, кто желает тебе добра, а кто, может, и нет, а уж потом и заводи дружбу.

— Хорошо. Так и сделаю. А сейчас я устал. Хочу прилечь.

— Да, приляг, милый, сейчас постель приготовлю. Или вот так же и приляг. А я чай поставлю. Крепкого чаю хочешь?

— Хочу.

— Вот и приляг. Сейчас все будет.

Через пять минут стол был накрыт. Чай был вправду хорошо заваренный, темный, душистый...

— Ты не поверишь, Теймураз, — размеренно повествовала Саломэ, — такой верной жены, как я, еще на свете не было. Ну, кем был мой муж? Никем. Работал экспедитором в Аразиндо. Не помню я от него ничего — ни теплого слова, ни ласки... Но как сказала я себе — смотри, Саломэ, не оглядывайся по сторонам, не изменяй законному мужу, — так ни разу и не изменила. Ни разу! Вот! Как-то стоял в этой самой комнате в одно лето молодой парень, твоих вот лет. Ты скромный, а он — ох!.. Юбошник, ну, просто отпетый. Только и знал, что бегать за женщинами. Где только он меня не ловил!

Но вел себя так хитро! Он был туберкулезник, так что бы мне не опротиветь, целует то в шею, то в затылок, а в губы — никогда. Но нет, я ему так и сказала: хо- роший ты, мой Симон, парень, какая женщина тебе от- кажет, приводи кого хочешь, а меня оставь в покое. Нет, говорит, хочу только тебя. Ну, милый, говорю, я и сама много чего хочу, что же из этого. Держи себя так, чтобы мне не пришлось мужу пожаловаться... Мужа-то моего кто бы испугался, но это я так, для виду. Знаешь, скандала каждый сторонится. Вот он и от- стал от меня.

— Муж когда умер?

— В позапрошлом году. Ударился головой о борт грузовика. Налить еще?

— Налей.

— Хочешь о моем муже? Так вот, когда мне первый раз сказали, что, мол, экспедитор Арсен, что на грузо- вике ездит, хочет на тебе жениться, я — ой как заарта- чилась! Молодая была да глупая. Где, говорю, я, а где Арсен. Но была я одна на свете. Стали люди уговари- вать — человек, мол, он спокойный, непьющий, зар- плата ничего, есть свой дом, а здесь кругом — больные, смотреть ни на кого не хочется... А уехать отсюда — ну куда, у меня и на билет денег не было. Вот мы и поженились. Судьба! Прожили мы с ним двенадцать лет. Большой радости не видели, а так, по-скромному... Детей не было... Я на него сваливала, он — на меня... Хотел как-то послать меня к врачу. Но нет, я не пошла! Иди сначала ты, сказала я ему, если скажут, что не твоя вина, тогда я пойду. Он раскричался, но к врачу так и не пошел. К вину пристрастился. Если бы не ра- бота его, наверное, и вовсе бы запил. Тот грузовик его спас. Налить еще?

— Нет.

— Скажи мне...

— Ну?

— Теймураз, скажи прямо: остаться мне? Ну... с тобой...

Меня прошёл пот. В глазах потемнело.

— Нет.

— Почему? — Саломэ удивленно на меня глянула.

— Не хочу.

— Я же сказала, что мужу никогда не изменю.

— Нет. Не хочу.

— Ну смотри... — Саломэ с трудом поднялась, пошла к двери, шатаясь.

* * *

Отказывая Саломэ, я даже не подумал о том, что эта женщина могла в ту же минуту выгнать меня из дома, тем более, что я уже порядком задолжал ей квартирную плату. Об этом я подумал, лишь когда Саломэ, выходя, громко хлопнула дверью. Тут же вспомнилось и то, что раньше чем через несколько дней я бы не посмел пойти на базар. Душевное спокойствие, обретенное в общении с Еленой Багратовной, бесследно исчезло. Я встал, осторожно прошелся по балкону, остановился у двери Саломэ. В темной комнате было тихо. Безмятежно спали и другие жильцы. Если бы в доме не было никого, кроме меня и Саломэ, может быть, я бы и посмел постучаться. А сейчас испугался, как бы она не стала мстить за оскорбление. Она же могла закричать и осрамить меня на весь свет. Осторожно вернулся я в свою комнату, прилег на кровать. Сна не было. С грустью думал я о том, как было бы хорошо, если бы у меня было много денег. Тогда бы я жил не в этом стареньком доме, а в гостинице, и на базаре мог бы покупать не одного, а десяток цыплят. И не боялся бы ни Абдуллы, ни того крикливого армянина. В этих размышлениях я и уснул, даже не раздевшись. Утром проснулся поздно. Было, наверное, уже часов двенадцать, жаркое солнце светило прямо в глаза.

По утрам Саломэ обычно не бывала дома. С рассветом уходила она в соседний санаторий, помогая там сестре-хозяйке. За это ей платили, и она иногда со смехом говорила, что умеет зарабатывать деньги. Не было ее и в это утро. Я умылся, привел себя в порядок, съел кусок хлеба с маслом, вышел на улицу. Не знал, куда идти и что делать. Пошел к верхнему мосту, считавшемуся центром Абастумани. Здесь по обе стороны речки были магазинчики, газетный киоск, тир, бильярдная. В полдень в Абастумани бывает довольно жарко и все прячутся в тени. А после обеда к мосту двигался медленный поток отдыхающих, преимущественно мужчин.

Останавливались у моста, обменивались новостями, а потом шли к футбольному полю за клубом. На поле продолговатым, точно дыня, латаным-перелатаным мячом с криком гоняли местные мальчишки. Сами были игроками, и судьями. Три корнера равнялись одному пенальти. Стоял нескончаемый гвалт, иногда шла потасовка... Это и было основным развлечением отдыхающих-мужчин, а что в это время делали отдыхающие-женщины, чем они занимались и как развлекались об этом не имею никакого понятия и по сей день.

Я не застал у моста никого. Солнце палило немилосердно. Больные ушли. Я стоял на мосту совершенно один. Очевидно, поэтому-то меня кто-то и увидел. Подбежал маленький мальчик и сказал, что меня зовут в спортивный магазин.

— Кто зовет?

— Анзор.

— Какой Анзор?

— Э-эх... Анзора не знаешь?!

Очевидно, этот Анзор был человеком влиятельным. Делать было нечего, я пошел к магазину.

Влиятельный Анзор сидел прямо на прилавке, ко-лицетворение здоровья и силы. Круглое и красное лицо, мощная шея, толстые, волосатые руки, широкая грудь. Анзор по-детски стучал о дощатую стенку прилавка обутыми в сандалии ногами и вполголоса мурлыкал какую-то восточную жалобную песню.

Вокруг Анзора толпились футболисты: высокий, светловолосый русский паренек в красной майке, который на футбольной площадке вечно торчал на одном и том же месте, задумчиво следя за полетом мяча и не предпринимая ровным счетом ничего, чтобы хоть как-то повлиять на этот полет. Тем не менее этот парень считался хавбеком. Здесь был и идол местных болельщиков, Фашик, парень с красивыми глазами. Он был левша и неотразимо бил по воротам, но приходил на игру всегда с опозданием. Только пронесется среди болельщиков слух, что сегодня Фашик играть не будет, мол, отец послал его в Ахалцихе, как у входа на стадион покажется сам Фашик. Медленно, с достоинством пройдет сквозь строй болельщиков, с невозмутимым видом

выставит с поля какого-нибудь уже разыгравшегося, раскрасневшегося парнишку и займет привычное место у левой кромки поля. Восторгам болельщиков нет конца. Не пройдет и минуты, как Фашик забивает в ворота противника великолепный гол. Был здесь и вратарь — чистильщик сапог Серож, которому на прошлой неделе какой-то военный надрал уши за то, что проказник чистил ему сапоги водой вместо ваксы. Словом, здесь была вся местная футбольная братия, каждый вечер оглашающая криками окрестности. Все они благоговейно молчали и влюбленно глазели на мурлыкающего богатыря.

Увидев меня, Анзор прекратил песню, почесал мизинцем левое ухо. Я сразу догадался, что говорить со мною ему было не о чем, просто продемонстрировал публике, насколько он человек известный и влиятельный: вот, позвал городского парня, а тот сразу и явился.

Анзор взглянул на меня черными, как гишер, глазами.

— Ты откуда?

— Из Тбилиси.

— Когда приехал?

— Две недели назад.

— Ну? Почему же с ребятами в футбол не играешь?

— Врачи запрещают.

— А что у тебя такое?

— Ничего такого, но... все же...

— Все же... Завтра я этих ребят посылаю в одно место. Ты пойдешь?

— Смотря какое место.

— Ничего особенного.

Футболисты переглянулись. Видно, для них было новостью, что Анзор их куда-то посылает.

— Это... — Анзор вновь почесал ухо мизинцем. — Дорогу к Аразиндо знаешь?

— Знаю.

— Там, на одной сосне есть надпись: «Морская тропинка». Люди говорят, если идти наверх по этой тропинке, с вершины горы можно увидеть Черное море. Вот и подите, может, в самом деле увидите море.

Футболисты вновь переглянулись и улыбнулись. Двое даже восторженно качнули головами. Видно, идея Анзора им очень понравилась.

— Что скажешь? — Анзор уставился на меня.

— Я не могу ходить по горам. Врачи запрещают.

— А-а... Ну, дело твое... — Анзор кивнул головой, давая понять, что аудиенция окончена.

Я вышел из магазина, ожидая, что вслед мне раздается взрыв хохота. Но ничего подобного не случилось. Очевидно, футболисты настолько увлеклись идеей Анзора, что им было не до меня.

Потом я узнал: года два тому назад Анзор прославил Абастумани, установив районный рекорд в поднятии тяжестей. Местные руководящие товарищи пообещали ему какую-то «физкультурную» должность и отправку на какие-то курсы в Тбилиси. Но время шло, и не было видно ни должности, ни курсов. Поэтому Анзор выполнял обязанности местного физкультурного вождя на общественных началах. Что же касается «морской тропинки», то никакого моря оттуда нельзя было увидеть. И об этом я узнал позднее. Оказывается, некоего великого князя из дома Романовых в этих местах сопровождал отряд моряков. Эти моряки и провели в лесу тропинку с тем, чтобы князь и члены его семьи могли совершать в лесу послеобеденные прогулки. Поэтому тропинка и была названа «морской».

Я вернулся к мосту. Домой идти не хотелось. Не было и денег, чтобы расплатиться с Саломэ и перебраться на новую квартиру. Накануне я получил письмо от мамы с обещанием выслать деньги на будущей неделе. Увы, я по опыту знал, что деньги приходили с большим опозданием. Нет, я был просто не в силах увидеться с Саломэ. Единственное существо, с кем бы я сейчас с радостью встретился, была Елена Багратовна.

Подойдя к голубому домику, я увидел ее. Она лежала в гамаке и читала какую-то толстую книгу.

Я остановился за широким букром.

Елена Багратовна, удобно устроившись в гамаке, спокойно перелистывала страницы толстой книги, а меня все больше разбирала злоба. Вспомнились и моя трудность, и этот грозно насупившийся, неизвестно почему, Абдулла, и то, что Саломэ так откровенно предложила себя, а взамен была грубо оскорблена мной... Нет, сейчас я был не в силах подойти к этой почтенной пожилой

женщине и заговорить с нею! Я повернулся и зашагал вниз по спуску к моему дому.

Войдя во двор, я увидел Саломэ. Она стояла у заднего крыльца, стирала что-то в тазу. Увидев меня, она выпрямилась, провела мокрой рукой по волосам. По-краснев до слез, как-то виновато улыбулась мне и тут же отвела взгляд. Губы у нее задрожали.

Я подошел, остановился в двух шагах.

— Здравствуй!

— Здравствуй!

— Если хочешь... идем ко мне.

— Сейчас?! — Саломэ испуганно оглянулась.

— Да... Сейчас...

— Хорошо... Сейчас... Иди... Приду...—Она поспешно стала развязывать пояс фартука.

Не помню, как я одолел лестницу, как вошел в свою комнату. Саломэ вошла следом. Даже забыла плотно прикрыть дверь. Подошла, остановилась передо мною. Грудь ее вздымалась. Лицо пылало. Смотрела как-то преданно-испуганно, и я впервые тогда заметил, какие у нее были красивые, карие, лучистые глаза.

— Дай руку, — Саломэ глубоко вздохнула, прижалась ко мне всем телом, схватила мою руку своей горячей рукой. — Ты... почему ночью подошел к дверям? Думал...

— Нет.

— А зачем же?

— Так...

— Домой скоро уедешь?

— Не знаю.

— А я знаю.

— Я скоро вернусь.

— Нет. Не вернешься.

— Ты и это знаешь?

— Знаю.

— Что же... Тогда ты сама приезжай в Тбилиси.

— Эх!

— Что?

— Посмотри на меня, — она схватила мою голову обеими руками. — Теймураз!

— Что?

— Ничего.

— Успокойся.

- Я тебя никуда не пущу.
- Я никуда и не иду.
- А в Тбилиси?
- Это... потом.
- Думаешь, я не знаю, что у тебя там плохой дом?
- Откуда ты знаешь?
- Знаю.

Вспомнилась наша тбилисская обшарпанная комната. Теперь она заперта: мама с папой на работе. В углу стоит старый шкаф с разбитым зеркалом. В комнате чисто и... бедно. Эх, почему мне так не повезло в жизни? Я был хорошим, способным мальчиком, учился хорошо, мама с папой рассчитывали на мою помощь. А что получилось?

- О чем ты думаешь?
 - Ни о чем.
 - Скажи.
 - Говорю, ни о чем.
 - Ну-ка, спроси меня.
 - О чем?
 - Откуда я знаю, что в Тбилиси у тебя плохой дом.
 - Оттуда, что получаю мало денег. Вот и тебе за-
должал.
 - Вот именно.
 - Вот именно.
 - Зачем же ты едешь?
 - Да никуда я не еду.
 - Напиши, пусть сами сюда приедут.
 - Напишу.
 - Вот так, а теперь... Ох, Теймураз!
- Какие все-таки бесподобные глаза были у этой женщины. Огромные, карие и лучистые...

* * *

Кроме меня, у Саломэ было еще пятеро жильцов. Выходившую на улицу большую комнату с огромными окнами занимали две сестры из какой-то известной тбилисской, кажется, профессорской семьи. Старшую звали Нэстан, младшую — Тинатин. Со мною они почти не разговаривали, то ли считая знакомство со мною уни-
зительным, то ли, наоборот, что я, такой не улыбочивый

и серьезный парень, не мог найти с ними ничего общего. Обе были красивые, черноглазые, скромные, носили розовые и голубые платья. На базар ходили редко, да и то не за покупками, а так, от нечего делать. Все съестное получали от кого-то в готовом виде. Я слышал, будто отец-профессор приезжал раз в каждые две-три недели и расплачивался с кем-то за все. Сестры собирались сдавать вступительные экзамены в консерваторию.

Рядом с ними жила пожилая кутаисская чета — Аграфина и Исидор, люди очень добрые и очень скупающие. Они не упускали случая, чтобы от всего сердца не пригласить меня к обеду или к ужину. Я всегда очень вежливо и твердо отказывался, и это их весьма озадачивало и обижало.

— Мы не больные, сынок, — сказала как-то мне Аграфина.

— Да что вы! Я знаю.

— Так пообедай с нами, у нас курица с орехами. Очень вкусно получилось.

— Пожалуйста, милый, — заговорил и Исидор. — Я говорил ей, нечего, мол, нам делать в Абастумани, сочтут за богатых, никто с нами и разговаривать не станет. Не поверила. Мол, посмотрим, что это за Абастумани. Посмотрели. Ничего место, конечно, но по мне — ничего нет на свете лучше Мцванэ-Квавила. Вас, дорогой, кажется, Теймуразом звать, да?

— Да, Теймуразом.

— Замечательное имя, истинно грузинское. Ну, Теймураз, дорогой, садись с нами, укрась нашу трапезу своим присутствием.

— Нет, спасибо, не могу.

— Отчего же?!

— Я уже пообедал... Спасибо... Недавно пообедал.

Аграфина и Исидор знали прекрасно, как вообще я «обедал», но что им оставалось делать. Спускаясь по лестнице, я чувствовал, как озадаченно глядели они мне вслед. Потом они еще раза два приглашали меня к столу, но уже без той сердечности, а скорее так, для порядка.

В крайней, самой маленькой комнате жил высокий, статный майор Тейгиз. Был он из Тбилиси. Носил хромовые, поскрипывающие сапоги. Приехал в Абастумани

на один год для поправки здоровья — жаловался на легкие, хотя он, черноусый, улыбчивый, в моем сознании никак не ассоциировался с туберкулезным. Он уходил из своего гаража рано утром, а возвращался поздно ночью. Иногда уезжал в дальний рейс и пропадал на несколько дней.

Мы все, жильцы Саломэ, были друг с другом в обычных дачных отношениях, когда случайно и ненадолго встретившиеся люди приглядываются друг к другу и постепенно устанавливают между собою если не дружеские, то вполне вежливые и предупредительные отношения. Делить-то нам было совершенно нечего. Но наш с Саломэ роман, очень скоро получивший огласку, изменил эти отношения в корне. Тенгизу было на это наплевать. Встретившись со мною, он весело подмигнул мне и пошел своей дорогой, поскрипывая блестящими хромовыми сапогами. Кутаисская чета была явно растеряна, а может быть, даже шокирована.

Увидев меня, Исидор вскакивал и с таким подобострастием со мной здоровался, как растратчик государственных средств здороваётся с неожиданно нагрянувшим ревизором. Так же Аграфина. Вставать-то она не вставала, но степенно кивала мне несколько раз, будто говоря: знаю, сынок, какое с тобою стряслось несчастье, но что уж делать, вы, теперешняя молодежь, не слушаетесь старших, вот и попадаете в такие ужасные истории. Отворачивалась и поспешно скрывалась в своей комнате.

Нэстан и Тинатин вначале не поняли ничего. Ведь иной профессор умудряется так воспитать своих дочерей, что они лишь через величайшие муки постигают то, что запросто известно каждому пастуху. Потом им, видно, кто-то объяснил. Они несказанно изумились и провожали меня расширившимися от ужаса глазами.

А Саломэ была на седьмом небе. Тогда я многого не понимал. А сейчас вижу, что у той сорокалетней, крепкой и жизнерадостной женщины был праздник любви. На ее пухлых, крупных губах постоянно играла добрая, самодовольная и победоносная улыбка. При моем появлении ее карие глаза загорались такой неус-

танной, неумемной страстью, что мне было неловко смотреть на нее.

Ни я, ни она не знали, до каких пор могли продолжаться наши отношения. Саломэ не подумывала о конце. А я, наоборот, постоянно думал, но не видел никакого выхода. Я знал лишь, что в один прекрасный день я должен буду собрать свои пожитки и уехать домой. Саломэ, наверное, проводит меня до автобусной остановки, а что потом, этого уже я не знал. Я не хотел и думать об этом.

И вот что интересно: ведь я понимал, что о наших отношениях узнал весь дом. Но меня угнетала мысль, что об этом могут каким-либо образом узнать Анзор, все футболисты, старик — продавец газет, откладывавший для меня спортивную газету... Я почему-то был уверен, что наши жильцы никогда никому не выдадут меня. Откуда взялась эта глупая, ни на чем не основанная уверенность!..

О Елене Багратовне я старался совсем не думать, убеждая себя, что я вовсе не обязан ей отчитываться. Кто она мне, в конце концов? Встретил я на берегу речки старую женщину, которая, оказывается, была невольной свидетельницей небольшой неприятности, случившейся со мной на базаре. Старая женщина успокоила меня, убедив, что та неприятность не стоила и выеденного яйца. Да я и сам так думал. Вот и все.

Но чем больше я старался убедить себя, что Елена Багратовна не занимала в моей жизни никакого места, тем глубже я убеждался в обратном. Черные, пронизательные, всевидящие глаза Елены Багратовны преследовали меня неотступно. Я боялся выйти на улицу и встретиться с нею.

Но я ведь уже не принадлежал самому себе. Однажды Саломэ, утомив меня своими бешеными ласками, вдруг оставилась на меня, глядя в глаза.

— Чего смотришь?

— Так.

Я высвободил правую руку, поправил ей взлохмаченные волосы. Она мягко поцеловала меня в висок, печально вздохнула.

— Почему вздыхаешь?

— Так.

— А все же?

— Ничего. Пойдем завтра на базар?

— А что там делать?

— Завтра же воскресенье!

— Ну и что!..

— О-ох! Будто он не знает! Абастуманский базар славится на весь мир. Ты того цыпленка разве не в воскресенье купил? Пойдем! Ну, Теймураз!

Как было отказать ей? Погода стояла прекрасная, до базара было всего сто шагов.

— А что там делать?

— Как что?! Купим фрукты, кур. Ты же получил деньги. Да и на что нам твои деньги. Знаешь, у меня их сколько! Нэстан дала мне пятьсот. Исидор вчера...

— Будем тратить твои деньги?!

— О-ох!.. Начинается... Мои, твои... Ну, потратим твои... Так пойдем?

— Пойдем, — я пожал плечами.

— Или боишься кого?

— Кого я должен бояться?!

— А ее?

— Кого — ее?

— Будто не знаешь!

— Я же тебе сказал, что ей за семьдесят.

— Ничего подобного!

— Честно!

— Зачем ты за ней бегаешь?

— Да что ты говоришь?!

— То и говорю!

— Саломэ!

— Ладно, молчу. Завтра я должна показать тебя всему миру.

— Это зачем же?

— Так.

— Смотри, я не пойду.

— А говоришь, ей за семьдесят.

— Конечно, за семьдесят.

— Посмотрим. Ох, Теймураз! — и она вновь крепко обняла меня.

К базару мы подошли к девяти часам утра. Увидев меня, Абдулла сдвинул брови, оглядел меня с ног до головы, потом перевел взгляд на Саломэ.

— Здравствуй, Абдулла! — Знакомая со всеми местными, Саломэ подарила его ласковой улыбкой.

— Здравствуй!

— Как живешь?

— Спасибо, хорошо.

— Будь здоров! — Саломэ хлопнула татарина по плечу и обошла его. Я следовал за ней. Не знаю, что подумал Абдулла, увидев нас с Саломэ вместе, но когда я уже издали оглянулся на него, он чуть заметно приподнялся со стула и тяжело поклонился мне — только сейчас ответил на мое приветствие десятидневной давности.

Не знаю, сколько мы с Саломэ пробыли на базаре. Могу лишь сказать, что повстречались мы там буквально со всеми моими знакомыми. Плечистый, черноусый Тенгиз прошествовал мимо нас, поскрипывая своими хромовыми сапогами. Рядом с ним была молодая, милостивая блондинка в белом платье, раскрасневшаяся на солнце. Покупали они огурцы. Тенгиз, весело подмигнув нам, протянул рублевку продавцу.

Аграфина с Исидором несли кур. Увидев нас, смутились, быстро переглянулись. Аграфина сразу же ласково улыбнулась, вытерла платком потный лоб, ласково заговорила с нами:

— И вы на базар пришли?

— Пришли, пришли... — весело отвечала Саломэ.

— Очень хорошо сделали! Базар замечательный. Вот, взгляните, пара — три рубля. Ну, прямо даром. Вы что хотите купить?

— Не знаем, посмотрим. — Саломэ была само веселье и жизнерадостность.

— Ну, до свиданья!

— До свиданья!

Супруги ушли. Исидор только и сумел, что очень вежливо на прощание нам поклониться. Прошел мимо нас как-то боком.

Нэстан и Тинатин стояли на другом конце базара, в тени огромного платана. Они ничего не собирались

покупать, пришли, как говорится, на людей посмотреть и себя показать. Черноволосая Нэстан была в розовом платье, такая же черноволосая Тинатин — в фиолетово-сиреневом. Увидев нас, девушки тоже быстро переглянулись, потом как-то незаметно повернулись спинами к нам. Я даже не успел заметить, как это произошло. А помню хорошо, что несколько мгновений назад они стояли к нам лицом.

Краснощекий богатырь Анзор и его футболисты обосновались у самого берега реки, в тени дубов. Сложив мускулистые руки на груди, Анзор гордо глядел вокруг. У его ног стояли полные всяких фруктов корзины и сумки. Из толпы покупателей выходили футболисты, то один, то другой, приносили новые корзины с фруктами, овощами, опять ныряли в толпу. Здесь были и русский парнишка в красной майке, и знаменитый Фашик с красивыми глазами, и все остальные. Вокруг физкультурного вождя возвышались настоящие горы фруктов и овощей. Потом я узнал, что в тот день приезжала ахалцихская футбольная команда и абастуманская спортивная общественность собиралась достойно встретить соперников.

Футболисты и Анзор не заметили нас. Мне вдруг ужасно захотелось быть вместе с ними, принимать участие в их шумных, полных веселья и смысла хлопотах, но...

Но я был пленником Саломэ. Эта женщина была счастлива и хотела, чтобы я тоже был счастлив.

— Вон там сулугуни продают. Подойдем?

— Сулугуни у нас есть дома.

— То плохой сулугуни. Этот, наверное, свежий, мегрелы ведь вчера привезли.

Саломэ идет рядом со мною, лаская меня блестящими карими глазами.

Сулугуни продает высокий, отменно вежливый мегрел.

— Почему твой сулугуни?

— Этот сулугуни, дорогая, не имеет цены, но для вас — два рубля штука.

— Хорошо. Выбери нам пару самых хороших.

— Саломэ, зачем нам пара сулугуни?

— Пусть! Кому-нибудь отдадим. Спасибо, дядя Теймураз, пойдем, вон земляника. О, дядя Димитри, здравствуй! Не узнаешь старых знакомых? Или гател?

Старый, с изрытым оспой лицом человек останавливается и долго разглядывает Саломэ. В руках у него кулек со сливами.

— Это... ты это, Саломэ?..

— Я, я, не узнаешь?

— Да, да, Саломэ! Здравствуй, милая, здравствуй....

— Как живешь, дядя Димитри?

— Хорошо, хорошо...

— Ну и я хорошо живу. До свидания, дядя Димитри. Пойдем, Теймураз.

Идем к землянике. Дядя Димитри долго раздумчиво смотрит нам вслед.

Землянику продает татарин.

— Неча ди?

— Бир манат¹.

— О-хо-хо!.. Все-то у них бир манат. Дай два кило.

— Саломэ, зачем нам два кило земляники?

— Пусть! Пригодится. Калбатано, калбатано!..

Пожилая женщина в синем платье останавливается и с явным недоумением смотрит на нас.

— Вы же хотели мяса для котлет. Вон, свежую говядину принесли.

— Спасибо! — женщина кланяется и отходит, явно недоумевая.

— Саломэ, я устал.

— Устал? В самом деле?

— Конечно.

— Или...

— Что — или?

— Я удивляюсь, весь Абастумани здесь, на базаре, а ее нет.

— Кого нет?!

— Будто не знаешь! Эх!..

— Ну, чего ты вздыхаешь?

— Да ничего. Ладно. Пошли.

Откровенно говоря, меня тоже удивило, что Елены

¹ Почему? — Один рубль (азерб.).

Багратовны не было на базаре. Конечно, встреча с нею здесь доставила бы мне очень мало радости. Скорее наоборот. Я боялся встречи с нею. Но был уверен, что встретимся обязательно.

Так оно и вышло. Только я и раскрасневшаяся от счастья и от непосильной ноши Саломэ подошли к окраине базара, как я увидел Елену Багратовну. Какой-то крупный военный чин — тогда они, военные, петлицы носили — подвез ее на своей огромной черной машине. Военный быстро вышел, почтительно открыл дверцу, высадил пожилую женщину. Елена Багратовна поблагодарила его еле заметным кивком и величественной, благосклонной улыбкой. Очень довольный военный сел в машину и уехал. Елена Багратовна направилась ко входу на базар и, увидев меня, приподняла брови.

— О, это ты, Теймураз?

— Я.

— Здравствуй, мой милый! — она протянула мне худую руку. Тогда я еще не умел целовать дамам руки — нас воспитывали по-другому. Елена Багратовна с еле заметной улыбкой бросила короткий, изучающий взгляд на Саломэ.

Саломэ держала в обеих руках полные до краев корзины. (Давеча я хотел взять у нее хотя бы одну, но она не согласилась). Лицо у нее было потное, красное. И эта сорокалетняя, пышущая силой и здоровьем женщина глядела на Елену Багратовну с такой восторженной влюбленностью и поклонением, каких я никак не ожидал от нее. Саломэ сразу узнала Елену Багратовну. Ведь бывает так... Моя возлюбленная забыла и свои корзинки, и, кажется, даже меня. Казалось, что она вот-вот бросится на эту женщину и задушит ее своими поцелуями.

Елена Багратовна порозовела. В самом деле, не очень приятно, когда на тебя смотрят с таким обожанием, а ты даже не знаешь, чем это заслужил.

Елена Багратовна обратила свои черные глаза на меня:

— Ты меня совсем позабыл...

— Ну что вы!..

— Нехорошо, нехорошо, Теймураз. Ты же знаешь мой дом, милости прошу...

Кивнув мне, Елена Багратовна вошла на бавар. И даже не глянула на мою возлюбленную.

Саломэ побледнела.

— Что с тобой, Саломэ?

— Ничего... — У нее задрожала нижняя губа. —

Пойдем..

Шагов двадцать прошли молча.

— Почему ты плачешь?

— Я не плачу.

— А все же?

— Она даже не поздоровалась со мной!..

— Вы же не знакомы.

— Я ведь была рядом с тобой.

— Она по-другому воспитана.

— Как по-другому?

— С незнакомыми людьми она не здоровается.

— Почему же ты нас не познакомил?

— Было неудобно...

— А ты познакомишь нас?

— При первом же удобном случае.

— Идем.

До самого дома мы шли молча. На балконе Саломэ бросила корзинки у стены, вбежала в свою комнату, заперлась. Я не видел ее до полуночи. В полночь она пришла ко мне, присела на кровать.

— Ты ел сегодня что-нибудь?

— Яичницу.

— К ней ходил?

— Нет.

— Я думала, пойдешь.

— Ну, Саломэ...

— Нет, я не то говорю. Пошел бы прошелся с нею. Я не обижусь, честно. Если хочешь, пригласи ее завтра. Я приготовлю хороший обед.

— Ее звать Елена Багратовна.

— Елена... Хорошее имя. Пригласишь?

— Не придет.

— Да... Наверное, не придет... Теперь... Мне остаться?

— Почему ты спрашиваешь?

- Скажи, остаться?
— Оставайся, конечно.



* * *

На другой день вечером Саломэ погладила меня по волосам и заглянула в глаза:

— Прогуляться не хочешь?

— Как будто нет.

— Иди, Теймураз. Я буду дома. Иди. — И вдруг она восторженно воскликнула: — Нет, с какой помпой ее привезли на базар! Ну и ну! — И по-доброму рассмеелась.

* * *

С Еленой Багратовной я встретился лишь на третий день, у верхнего моста. Стояла она в очереди за газетами, с летним зонтиком в руках.

— Здравствуйте, Елена Багратовна!

— Здравствуй, милый, здравствуй! За газетами? Вот за мной и становись. Почему тебя опять не видно?

— Да как вам сказать...

— Не соскучился в этом Абастумани?

— Так...

— А я соскучилась.

— Вам, наоборот, должно быть очень весело.

— Почему же?

— Вокруг вас такие интересные люди... и автомобиль...

— А-а, да... это хороший парень. Самое удивительное, что он меня узнал! Служил, оказывается, под командой моего мужа где-то в Аджарии. Был простым вахмистром. А я была генеральшей. И, представь, узнал! Подошел, так, говорит, и так, вы меня не помните, а я вас помню. После революции вступил в Красную Армию и вот стал настоящим генералом. Дайте мне, пожалуйста, «Правду» и «Комунисти». Спасибо! Что же ты покупаешь? То же самое? И «Красный спорт». Ну, эта газета ваша, молодежная. Так... Ну, если есть время, пойдем, проводи меня. Помню, солдаты моего мужа, бедные, все время были в работе и в учебе. Гарсеван гово-

рил, что солдаты ели лишь черный хлеб. А я даже не знала, что это такое — черный хлеб. Пойдем в тень. Будь мой Гарсеван жив, он, наверное, тоже вступит в Красную Армию. Его очень любили нижние чины. Вот, через тридцать с лишним лет человек машину мне оставил. А я тогда была избалованной девочкой, только и всего. Машину он подал не мне, а доброму имени моего мужа. Доброе имя — это большое дело.

Елена Багратовна остановилась, обмахнула газетой раскрасневшееся лицо, улыбнулась мне:

— Я не слишком много болтаю?

— Ну что вы!...

— О, ты такой деликатный парень! Но я ведь и сама знаю. Что делать, что делать... Скоро, наверное, умолкну навсегда. Ну, милый Теймураз, может, позавтракаем вместе?

— Я, знаете... спасибо, но....

— Ну что ж, я не настаиваю. Тем более, что, насколько я знаю, тебя дома ждет хороший завтрак. Так ведь? — и неожиданно ласково улыбнулась.

— Елена Баграт...

— О-о! Какой скрытный! Ну ладно! Не забывай меня, Теймураз! Пока, до свидания!

* * *

— Почти целый час вы гуляли по улице, — сказала в тот вечер Саломэ.

— Ты нас видела?

— Конечно! Я стояла в складе за дверью.

— Было очень жарко.

— Жарко было на улице, а не в складе... О чем вы говорили?

— О многом...

— Все она говорила, ты молчал.

— Такое у нее было настроение.

— Сердилась?

— Ну вот еще!

— Нет?

— Нет, конечно!

— А она знает?

— Что?

— Что!

— Не знаю.

— Посмотри мне в глаза. Знает.

— Ну и что?

— Ничего. Потом скажу. Но...

— Что — но?

— Ничего. Но...

— Да что — но?

— Ничего. Но знает. Сегодня ты ничему не должен

удивляться.

— Чему — ничему?

— Ни-чему! Скажи: ужинать будешь?

— Мы же поужинали.

— Может, чаю выпьешь?

— Нет.

— Ну и ладно. Посмотри на меня. — Саломэ нагнулась, сжала обеими руками мою голову, жадно поцеловала в губы. Потом выпрямилась, перевела дух. — Что еще?

— Ты о чем?

— Ни о чем! Прощай, Теймураз.

И она вышла из моей комнаты. После этого она ни разу не переступила ее порога.

В Абастумани пробыл я еще неделю. Саломэ не показывалась. С Еленой Багратовной мы виделись несколько раз. Сидели у речки, молчали... Это ей бывало приятно, потому что она могла молчать сколько душе угодно. Больше ни разу она не была столь красноречивой, как в тот день. Прощаясь, протягивала с улыбкой руку и уходила, как обычно, с гордо поднятой головой.

Через неделю я получил из Тбилиси письмо, мол, приезжай срочно, достали путевку в сухумский санаторий. Собрался наспех. Саломэ проводила меня до улицы. Старалась не плакать, но была бледна. Я как-то неловко поцеловал ее в щеку и ушел, ни разу не оглянувшись. У голубого дома остановился, поставил чемодан. Елены Багратовны не видно было ни во дворе, ни в комнатах. До отхода автобуса оставалось очень мало времени. Но я все же решил подождать, тем более, что до автостанции был всего один километр. Не знаю, сколько я простоял под палящим солнцем, пока не услышал отдаленный шум тяжелой машины. Из-за поворота выкарабкался огромный, неуклюжий синий автобус. Я понял, что свидеться с Еленой Багратовной мне было уже не суждено.



МОЯ НАСТОЛЬНАЯ КНИГА

Город, он книга моя —
фолиант,
эпохальный и скучный.
На прочном асфальте печаталась книга,
проспект —
лишь часть этой книги,
а всего в этой книге — три части.
Улицы — главы,
глав в книге много,
переулки — подглавки,
их в книге немало,
тупик — что эпиграф,
эпиграфов в книге полно!..
Площадь — пробел, разделяющий
главы, страницы и строчки.
Парки и скверы — графика книги,
небо с землею — обложка.

В книге примерно семьсот тысяч строк.
Не рифмуются строки, однако,
хоть и держатся в строгом единстве.
А автор незримый той книги
ежедневно стирает то строчку, то главку,
эпиграф, параграф и пишет
новые строчки, новые части, хотя
работает трудно, до нервного шока порой...

Люди — строчки той книги.

Помню, ребенком еще
я город прочитывал жадно,
за улицей улицу, за площадью площадь,
и, словно букварь, их листал,
и, пальцем водя,
читал по слогам.

Мне бог присудил эту книгу читать,
ежедневно зубрить наизусть.

Мне сегодня
все в зачитанной книге знакомо,
мне не нужно,
как пальцами,
ногами водить по булыжнику строчек.
Дома могу оставаться и букварь свой читать,
как собственных мыслей бесчисленный свод.

А знаете, что в этой книге?
Начинается книга с того,
как скучный рассвет наступил и жизнь началась,
кончается книга на том,
как скучное утро прошло,
как пасмурный день отошел
и грустная ночь наступила.
В конце наставленье дает составитель:
сходи-ка домой и усни,
силы свои сбереги, поскольку и завтра
придется тебе эту книгу читать.



В 1968 году трагически ушел из жизни Шота Чантладзе, своеобразный человек, поэт больших возможностей.

При жизни его поэзию знали немногие — знали в основном в литературной среде. Лишь в 1979 году в издательстве «Мерани» была посмертно издана книжка его стихов.

«Ополчившись против старого, традиционного толкования стиха, он смело менял средства выражения.

Возможно, отсюда и некоторый эклектизм, который наблюдается в его книге. Однако он же означает, что в ней ощущаются все тенденции, характеризующие современную поэзию вообще, и грузинскую в частности», — писал поэт Таризел Чантурия вскоре после выхода в свет грузинской книжки.

Сегодня со стихами Шота Чантладзе в переводах ГИ-ВИ ОРАГВЕЛИДЗЕ впервые знакомится русский читатель.

Кто автор мучительной книги?
Кто этот таинственный автор?
Не важно. А важно, что муки его
пронзили ту книгу насквозь;
что сердце его мучительно бьется,
как бьется мучительно сердце
города жизни моей.



Мне бог присудил эту книгу читать.
Эта книга — настольная книга моя.



Сейчас я обхожу редакции,
где воздух — как бумага,
где потолки над полом виснут,
где вольно дышится столам,
где перья влюблены в чернила,
где вспоминаешь, что в милиции
вчера ты паспорт обменял,
где вспоминаешь поликлинику,
где зуб вчера ты вырывал,
где зажигаешь сигарету,
не замечая
на спичечной коробке надпись:
«Победа».

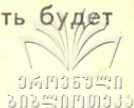
Сейчас я обхожу редакции,
где их редактор — хозяин дома своего.
Но говорит со мной он, будто
стоит и ждет на остановке
трамвай, который подъезжает.

СОН

Сон затевает игры,
ангелом дышит мгла;
некий явился игрек,
некая икс ушла.

Месяц шествует ведьмой,
ангелу вторит тьма...
В плен угодили ветры,
солнце сошло с ума.

Мало кто те строки знает! Лишь пустыня помнить будет
бесконечные дороги, человека и верблюда.



●
Дождь пронесся над землей,
вырвался из-под земли,
дождь сорвался с пиков гор;
дождь ворвался в тополя
и в платаны, и в сирень...

Ночь кромешная. Над ней
небо голое висит —
голубое полотно бесконечное...
В центре ночи находясь, вопрошаю,
может ли
солнце эту ночь затмить?

Постепенно блекнет ночь,
жуткая громада — ночь.
Солнце алое встает,
постепенно меркнет тьма;
постепенно возносясь,
возвращается заря
и светлеет все кругом
постепенно...

В этом свете я стою, озаренный светом дум,
сомневаясь в свой черед во всеилье темноты,
Разве может темнота
победить лучистый свет,
огненный, огромный свет!..

Рассвело.

И ни души. Только громкий лай собак.
На кого собака лает, если рядом ни души?
Очевидно, злые псы заменили петухов
и с зарею будят нас, обижая петухов.

«Ку-ку-ку», как в воздух гвоздь,
заколачивает тварь.
То кукушка завелась,
а мычание коров

выросло из-под земли,
словно травы после гроз.
Щебет птиц — как дождь грибной.
И ты чувствуешь душой,
что опять проснулся свет,
что опять явился день...

Но, как вор, из кровли дым
взвился в небо
и исчез...



Вспомнил лицо и бледность, губы и этот лепет,
вспомнил и то, как страстно вы говорили:
Буду любить и всюду пойду за любовью следом,
даже в могилу...
Что ж, дорогая, ныне вы мне остались только.
С тем, что зовется жизнью, кончены счета...
Движусь теперь к могиле, в сумрак спускаюсь
скользкий...
Ну как, пойдете?



Были: солнце...
улица, словно пространство, ушедшее в солнце...
Было, как в фильме, в котором в пространство
некий печальный мужчина шагал.
И я позабыл о себе,
зашагав,
как этот мужчина — в пространство...



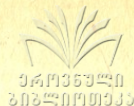
Снег ушел.
Пришла земля.



Ночь ушла с рассветом,
С утром грянул день,



чтоб лучистым светом
оттенить всю тень.



Тень же снова выросла,
ночью назвалась
Как бы это выяснить,
как найти тут связь.

●
Ночь. А заботы — смертные дети.
Бога не стало. Пес где-то бродит.
В ставни влюбленный, трепетный ветер
Счастье свое все же находит...

●
Солнечный зайчик в луже весенней
плещется звонко.
В парке играет обыкновенный
шустрый мальчонка.

Бабочка ищет нежность цветенья,
бабочку — мальчик...
К яркой окраске знаков весенних
тянутся пальцы.

Мальчик играет, пальцы в чернилах,
щеки — как кляксы.
В мятых тетрадках двойки застыли,
хоть и не глуп он.

Мальчик играет, солнце садится,
в небе — румянец.
В травке зеленой, будто в петлице,
брошенный ранец.

●
Стоит мне из дома выйти или
в дом вернуться, став спиной к предметам,

тут же мне мерещится, что вещи
надо мной смеются...

Стоит мне, однако, стать лицом к предметам,
как смолкает смех их.

Радостно смеются вещи, если
чуют дым от сигареты горький.
Любят улыбаться стол и кресло,
но особенно смеются книги...



Сколько ночей, рассветов бесчисленных,
помню, с небес на землю спускалось...
Сколько «кому-то», сколько «чего-то»
в этом кружении перепадало...
Сколько порывов, сколько расчетов
не завершилось, не состоялось...



Выходит, я жив,
раз стихи сочиняю,
но если умру
и кто-то стихи про меня сочинит,
значит и я
для кого-то стихи сочинял.





К ИКНАДЗЕ прибыл
когда посольство

уже отправилось на воскресный отдых в Снагов. Жара казалась нестерпимой и оставаться в городе не было никакой мочи. Неизвестно, из какой глубины стремились воды, питавшие Снагов, но озеро казалось сколком льда: оно было, подобно льду, сине-сизым и дышало почти такой же, как лед, студеностью.

Был шестой час вечера, когда на просторном дворе посольской дачи, наклонно спускающейся к озеру, Лукин заметил темно - серый пиджак и яркие седины незнакомца. Самая первая мысль: человек прибыл издалека, при этом не с юга, а с севера — по нынешней жаре такого костюма не наденешь.

— Простите, вот то... светлое, через озеро... не обитель этого здешнего первопечатника? — каким-то боковым зрением, зорким, не стариковским, приезжий узрел Лукина. — Будем знакомы: Кикнадзе, Ираклий Иванович...

Главы из повести.

Савва ДАНГУЛОВ

ПОСОЛЬСКИЕ ЗАПИСИ

Кикнадзе, значит? Посол Кикнадзе? Вот он какой!...

— Лукин...

— А, Лукин?.. Петр Кузьмич? Знаю, знаю... Слышал еще на Кузнецком! По-моему, слышал от Дурденевского!..

— Может, и от Дурденевского! — с радостью согласился Лукин. — Всеволоду Николаевичу я многим обязан, — имя Всеволода Николаевича, упомянутое послом, было определено знаком добрым, Лукин любил старого профессора.

Значит, Кикнадзе Ираклий Иванович.

Лукин сдвинул задвижку с калитки, соединяющей дачные дворы, пошел вместе с Кикнадзе к берегу. не менее он оказался едва ли не по плечо Кикнадзе. был высок. Лукин не считал себя низкорослым, тем не менее он оказался едва ли не по плечо Кикнадзе. И еще заметил Петр Кузьмич, пока они шли к берегу: человек дышал покоем, этот покой был в походке, во взгляде его глаз, красивых и кротких, в говоре, в котором не силен, но явен был грузинский акцент — эта грузинская краска была очень симпатична.

— Вы пока что один, Ираклий Иванович? Семья едет вслед?

— Да, у дочери сессия... они, пожалуй, будут в следующую субботу, — он взглянул на весельную лодку, стоявшую у берега, и его глаза, доселе холодноватые, точно отогрелись, — да не явилось ли у него желание сесть в лодку и подналечь на весла? — Ветер... с озера? — он поднял ладонь, обратив ее к воде. — Там, пожалуй, не так жарко? — он все еще держал ладонь, повернув ее в сторону озера, обводя взглядом и воду, и берег, а заодно и пыльные кроны белолисток, в неумолимой жажде приникшие листьями к воде. — Не так жарко, верно?..

— Решитесь, Ираклий Иванович? — указал Лукин на лодку. — В этот час хорошо на Снагове...

— Решусь, пожалуй.

Лукин извлек цепь из металлической петли, укрепленной на берегу, сел за весла; Кикнадзе снял пиджак, уложив его на дне лодки подкладкой наружу, осторожно выпростал запонки из манжет, не без удовольствия закатал рукава.

— На озере свежо, Ираклий Иванович...

— Ничего, ничего...

Они поплыли — у Лукина была и сила в рывке, и сноровка — лодка шла легко. Поднимая весла, Петр Кузьмич нет-нет да обращал взгляд на Кикнадзе. Непобедимым покоем веяло от человека, сидящего перед ним, покоем и, пожалуй, радостью. Только сейчас Лукин заметил: человек был неслыханно красив, неслыханно... Поистине, красота уходит из жизни последней, должен был сказать себе Лукин. Сколько могло быть лет Кикнадзе? Пятьдесят восемь или все шестьдесят? Казалось необычным, чтобы в эти годы человек был так хорош. Нет, суть не в том, что лицо его было правильно, сохранив ту верность черт, какую может сберечь человеческое лицо только в возрасте, которого не коснулась своей губительной десницей старость, — в самом взгляде было такое, что человек удержал с той поры, когда до вечерней зари далеко. Вот он снял пиджак и закатал рукава, но от этого весь его облик не стал будничнее — наоборот, человек сберег благородство.

— Может быть, есть возможность приблизиться к этой обители первопечатника?

— Вы хотели, Ираклий Иванович?

— Если можно...

Они преодолели середину озера, и монастырь точно поднялся над водой. Солнце садилось позади монастыря, но свет вечерней зари, все более яркий, отражаясь в озере, высветлил и монастырские стены, и коснулся окон, выходящих на озеро—они пламенели. Нельзя сказать, что приближение лодки к монастырю отразилось на лице Кикнадзе, на выражении его глаз: они все так же оставались невозмутимо кротки, быть может даже скорбно-внимательны. И Лукину вдруг подумалось: все, что он знает об этом человеке, вступило в некое противоречие с его обликом. Ну, к слову, вот этот случай, происшедший в начале века, когда Кикнадзе пригнал в Батум через ненастное море транспорт со взрывчаткой, похоже это на него? Но человек, сидящий сейчас в одной лодке с Лукиным, это тот самый Кикнадзе или, быть может, другой? То, что ты способен сделать в двадцать лет,

в твоих ли силах совершить, когда тебе шестьдесят?
Тот ли это человек или все-таки иной?

— Причалим?

— Да, конечно...

Солнце зашло за монастырь, лодка вошла в пределы тени. Лукин не сводил глаз с Кикнадзе. Вот как бывает в жизни: встал человек едва ли не из небытия, и кажется, что в небытие обратил он тебя и твою мысль, если говорить не только о дне вчерашнем, но и дне завтрашнем. В самом деле, как он обнаружит себя завтра, как сложатся твои отношения с ним и в какой мере день нынешний будет похож на день грядущий, так ли он будет светел, как сегодня, или его застит темень?.. Да какие могут быть тут сомнения? Вот эта его невозмутимость, радушие и, пожалуй, покладистость, должны же они сказаться на отношении к людям? Небось воодушевит доверием и окрылит! Лукину, например, ничего, кроме доверия, не надо. Если ему суждено сделать что-то стоящее, он сделает это только в одном случае: необходимо доверие, остальное как-нибудь приложится.

Лодка выскочила из воды, зашипел песок-берег. Они пошли к Егору — только сейчас они и поняли, что берег, казавшийся пологим, был не так полог. До монастырских стен было неблизко, но стены донесли до Лукина запах мха и сырой глины. В этомдыхании было нечто древнее, что потревожило память и вызвало картины, которые нечасто являлись Лукину — в кои веки Петр Кузьмич решался войти во врата монастыря. А врата, к удивлению гостей, оказались распахнуты, и гости вошли в монастырский двор, а вслед за этим вступили на лестницу, истертый камень которой давал представление о нескончаемой череде лет, проследовавших по этим ступеням...

И вновь Лукин приметил: монастырь сообщил Кикнадзе энергию, какой не было прежде, энергию и, быть может, готовность постичь происходящее. Ираклий Иванович обернулся, и Лукин приметил, как вздулись крылья маленького носа Кикнадзе, выражая нетерпение, — нет, Кикнадзе был не столь бесстрастен, как мог показаться вначале, посол точно сето-

вал на нерешительность Лукина, сетовал, сохраняя са-
мообладание, — Кикнадзе был Кикнадзе.

А лестница ушла вверх и скрылась во тьме, рыв пологом тьмы и Кикнадзе. Сейчас были слышны лишь шаги Ираклия Ивановича, которые не столько обнаруживала, сколько гасила лестница, да, пожалуй, дыхание Ираклия Ивановича — лестница стремилась вверх круто. И Лукину вдруг пришла на ум сумасбродная мысль: все это время, пока их влекло к монастырю, они точно совершали восхождение — и этот берег, уходящий вверх, и этот холм, на который взгромоздился монастырь, и эта лестница, забирающая едва ли не отвесно, как, впрочем, и вода Снагова, которая по мере приближения к монастырскому берегу будто вставала горой. Однако шаги обнаружили себя и смолкли, какой-то миг было тихо, даже дыхание прервалось. Потом скрипнула дверь, и по плоскому камню лестницы стрельнул лучик вечернего солнца. Дверь была распахнута, в дверях стоял монах в рясе, не столько черной, сколько темно-коричневой. Солнце забралось ему за ухо, край его пепельной бороды пламенел, яркой была мочка уха.

— Домнуль амбассадор?.. Господин посол?.. — переспросил монах, отвечая на короткую фразу Лукина, которую тот обронил, приветствуя снаговского чернеца. — Иверяну?.. — насторожился монах и, ухватив рясу где-то у самой полы, задрал ее почти до колена, приготовившись к бегу. — Аича Иверяну, аича... Здесь Иверяну, здесь...

Они пошли длинным коридором, который точно опоясывал здание, забирая все выше, — было впечатление, что восхождение продолжается. В коридоре было сумеречно и тихо, иногда ощутимо вторгалось дыхание воска, иногда неширокую тропу, которую напоминал коридор, перебивала палочка света, упавшая из приоткрытой двери. Вначале эта палочка была ярко-красной, точь-в-точь как ветвь вербы по весне, потом сизой, похожей на прутик ольхи, потом белесой, какой бывает только хворостина, выломанная в зарослях бузины, — солнце позади монастыря быстро меркло, оно уходило на покой.

— Аста каса... Иверяну, — произнес монах и, положив ладонь на темное дерево двери, нерезко от-

толкнул ее от себя, дверь скрипнула и приоткрылась. Ощутимо пахнуло ветром, отдающим холодной сыростью и прелью. — Пофтиц ворок, домнуль, пофтиц. Пожалуйста, господа, пожалуйста... — произнес монах, приглашая гостей переступить порог кельи.

Они вошли. Узкое окно, за которым быстро гасло дневное светило, полусвещало келью, темные сводчатые стены, деревянный стол и скамью подле стола, все темное, напитавшееся сырости и будто заморенное. Монах окинул келью внимательным взглядом, будто впервые увидел все, что явилось его глазам только что, и, остановив глаза на сундуке, стоящем в углу, ухватил тяжелой пятерней полу рясы, потряс, да так шибко, что ряса отдалась колокольцами: не иначе монах был ключником. Затем монах запустил правую руку в карман по самый локоть и выложил на ладонь руки левой связку ключей. Сундук поддался железной деснице монаха, вздохнул тяжело и приоткрыл свой темный зев.

— Аста карта веки, Иверяну карта. Вот она, старая книга, Иверяну книга... — сказал монах и передал в руки Кикнадзе ощутимо тяжелый фолиант, заключенный в кожу, по всему толстую и твердую. Кикнадзе раскрыл книгу и взглянул на окно, молча посетовав, что оно дает мало света. Этого взгляда было достаточно, чтобы монах окунул руку в зыбкую тьму сундука и извлек свечу в железном, обрызганном воском подсвечнике. Пламя взялось, потрескивая, свеча вычертила свой невеликий блин света, прихватив и страницы старой книги, писанной от руки, — литеры были четкими, рука у писца была твердой, — Че май векии карта ностру, че май веки... Наша самая старая книга, самая старая... — повторял монах, неожиданно перейдя на шепот. Точно то была не книга, а человек, неизмеримо значительный, он вошел в комнату, этот человек, и все, кто был в комнате, перешли на шепот.

— Он писал эту книгу здесь? — поднял Кикнадзе глаза на Лукина, убеждая его перевести.

— Да, да, — закивал монах, ухватив с полуслова смысл того, что сказал Лукин. — Он вставал с зарей

и с зарей ложился, захватывая ночь, он работал по ночам при свечах и жил скудно, как все здесь. — монах смотрел в книгу, словно все, что сказано в книге. — На мамалыге и воде, — пояснил он. — У нас тут бывают жестокие зимы — чтобы уберечься от холода, сваял себе бурку из овечьей шерсти, как это умеют делать пастухи в горах Иверии. Она была для него и шубой, и одеялом, эта бурка... Когда в келье было холодно, он ставил бурку торчмя... Получался как бы дом в доме — он обогревал этот маленький дом своим дыханием... Не было бы бурки, пропал бы пропадом...

— Он был стар?

— А вы не видели? Вот он!

Монах схватил со стола свечу и вознес на высоту своего роста, оперев в потолок. — Вот он, вот!..

Свет свечи упал на портрет, от движения руки пламя колебнулось и световое пятно пошло по поверхности портрета, добравшись до лица. Монах отошел, уступив свое место Кикнадзе. Ираклий Иванович приблизился к портрету: казалось, они смотрели друг на друга в упор, Иверяну и Кикнадзе. У Иверяну была патриаршья борода и характерная для иверийца правильность лица и спокойно-торжественная мягкость глаз. Во взгляде Кикнадзе была, пожалуй, испытующая пристальность: он будто все еще хотел проникнуть в строй души человека, понять, какие силы пришли в движение, когда он решился на свой поступок. Иверяну был весь во власти своей думы, его взгляд был тих и мудр, а улыбка всеразумеющей.

Кикнадзе наклонился, взял в руки старую книгу в телячьей коже, заметно поизносившейся, — углы протерлись, была видна клеенная бумага, когда-то зеленая, а сейчас едва ли не белесая.

— О, Шота!.. — воскликнул Кикнадзе и поднес книгу к свече. — Шота, Шота...

— Но ведь это иверийское письмо! — воскликнул монах, не скрыв изумления.

— Разумеется, иверийское, — ответил гость.

— Да не ивериец ли вы? — спросил монах и взглянул в лицо гостю, будто стараясь отыскать в этом лице черты Иверяну.

— Ивериец, — сказал гость и склонился еще ниже над книгой.

— О-о-о-о! — мог только вымолвить монах, — произвольно выпрямился. — О-о-о!.. Да вы понимаете, что произошло? — спросил монах.

— Конечно, просто два иверийца встретились на берегу Снагова... — уточнил Кикнадзе.

— Не просто иверийцы — послы, — был ответ монаха. — Иверяну был первым, вы — второй...

— Быть может, вы и правы: второй... — в знак согласия Кикнадзе наклонил голову и медленно пошел из кельи.

Они отправились в обратный путь, когда погасла заря и небо, яркозвездное, будто опрокинулось в Снагов. Ветер дул в спину, и лодка шла сама по себе, ее лопастные весла точно сгребали с поверхности озера звездный снег. За всю дорогу не было сказано ни слова, как мало слов было сказано и на берегу. Поднявшись к себе, Лукин видел, что Кикнадзе не пошел к дому. Ему нужно было время, чтобы совладать с тем, что произошло для него в этот вечер...

ВЛАДИКАВКАЗ

МНЕ показалось, что осень начиналась в здешних местах со Снагова. Озеро удерживало туман часов до девяти. Тот берег не опознавался, как не опознавалось и солнце, — день виделся пасмурным. Но часам к десяти солнце отыскивалось. День быстро набирал силу и оказывалось, что над Снаговом синее небо. Все это повторялось изо дня в день и должно было приучить людей к нехитрым повадкам Снагова. Но люди отказывались привыкать: утренний туман был обилен и не очень-то верилось, что он рассеется.

— Поплывем вдоль берега, — сказал Ираклий Иванович. — Далеко забирать не будем...

Лодка отчалила. Она действительно шла на виду у берега. Греб Лукин, не очень налегая на весла. Если и была у этого путешествия цель, то единственная: быть на даче к обеду. Это могло и немало во-

душевить и Кикнадзе. Как успел заметить Лукин, стилией его была свободная беседа, которая текла тем свободнее, чем больше было времени.

Сейчас Ираклий Иванович сидел на скамье напротив, на нем был пиджак из легкой рогожки и белая сорочка с воротником «апаш».

— Вы бывали в дельте Дуная? — вдруг спросил Кикнадзе. — Видели, как выглядит течение реки при впадении в море? Такое впечатление, что река напоминает пряди волос, расчесанные гребнем, — волосы обтекают холмы и рощи...

— Верно, верно, именно такое впечатление, — ответил Лукин. — Однажды я видел это даже с самолета, сверху все это нагляднее...

— Не кажется ли вам, Петр Кузьмич, что вид дельты схож с жизнью человека?

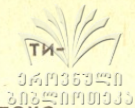
Лукин растерялся: «С жизнью человека?» — спросил он себя.

— Жизнь человека — это не только твоя собственная жизнь, но и те судьбы, их много, которые тебе сопутствуют, — твои близкие, друзья, быть может просто приятели... — пояснил Кикнадзе. Он вдруг взглянул на небо, не иначе ему понадобилось сравнение, в котором бы участвовало мироздание.

— Можно подумать, что на память пришел такой человек, — Лукин поднял весла — лодка была нелегкой и тут же замедлила ход, с весел скатилась вода, в наступившей тишине вдруг стало слышно, как на берегу пофыркивают кони, берег был рядом.

— Именно такой человек пришел на память... — согласился Кикнадзе. — Даже странно, что он вдруг вспомнился, — улыбнулся Ираклий Иванович и взглянул на воду, которая здесь, в заводи, была недвижима и по этой причине будто отполирована, отражая небо, в нем появилась первая просинь. — Взял и вынырнул, неожиданно вынырнул... — уточнил Кикнадзе, все еще глядя на воду, — была иллюзия того, что человек, о котором он говорил, действительно поднялся из воды, бледный от долгого пребывания в озере, с мокрыми волосами, полузакрывшими глаза, не в силах совладать с тяжким дыханием. — Вынырнул... — повторил он и значительно покачал головой, будто отзываясь на свои тайные мысли.

Лукин осторожно налег на весла: он берег тишину.



Лодка пересекла залив, странным образом похожий на кисет, в котором здешние крестьяне хранят табак-самосад, его хрупкое крошево, — темная полоска, оставленная лодкой на воде, как бы стягивала кисет у горловины.

— Вот вам, как на духу: все, что собираюсь рассказать, — правда сущая!... — он обратил к Лукину ладонь, как бы умеряя его энергию, прося грести не так быстро, — ладонь была неожиданно розовой, совсем не стариковской. — Все произошло в мой последний приезд в Москву: управление предложило путевку в Кисловодск, путевку золотую, и весь день ушел на сборы. Уже были уложены пижама с сандалетами, разумеется, дорожные шахматы, когда раздался звонок... Сказать, что это было неожиданно, наверно, не все сказать... «Ираклий Иванович? Не могли бы вы побывать у нас? Захватите паспорт — пропуск заказываем... Ну, как вам сказать? Пожалуй, срочно... Вас встретит майор... Нет, не Пучков, а Дучков...» Не хочу сказать, чтобы звонок этот меня воодушевил, да вряд ли он способен воодушевить... Одним словом, я поехал. Пропуск был уже выписан, в условленном месте я нашел и майора Дучкова. Он приветствовал меня с откровенным радушием и повел дорогой долгой-предолгой из одного коридора в другой... — одним словом, не могу сказать, что этот коридор был мне не известен, я хаживал его длинными тропами, знал его, если можно так сказать, верстовые столбы... Нет, вначале майор пошел позади меня, но потом спохватился и, прибавив шагу, поравнялся, дав понять, что имеет дело с гостем. Он даже решился заговорить, точно прося извинения: «Понимаем, что нарушили ваши сборы», — заметил он. Не скажу, что он снял чувство тревоги, но голос майора услышать было приятно... Открылась дверь, и солнце, ударившее в глаза, заволочло человека, сидящего справа в углу, как и полковника, стол которого был прямо перед дверью. Полковник сказал так, точно эта встреча бы-

ла не первой, а десятой: «Садитесь, Ираклий Иванович. Вам, конечно, сегодня было не до нас...» Только сейчас, усаживаясь в полукресло, я понял, какое тяжелое состояние было у коридоров, которые мы преодолели. Майор откланялся и вышел, а я взглянул на сидящего справа синебородого человека, — видно, все дело было в этом человеке, хотя я его не знал, по всему, не знал... «Вам сегодня явно не до нас, да уж простите...» — повторил полковник, повторил без особой необходимости, видно, ему нужно было усилие, чтобы совладать с собой. — Вот Иван Авросимович Егерев, — указал он на синебородого взглядом, и человек, сидевший в углу, приподнялся. — Сидите, сидите, Егерев, — протянул он руку к синебородому. — Иван Авросимович утверждает, что спас вам жизнь...» Я встал: «Спас жизнь... мне?» — это сама внезапность происшедшего подняла меня. «Спас жизнь?» — спросил я. «Да, вам, Ираклий Иванович, — сказал синебородый. — Во Владикавказе, в мае девятнадцатого года, за этими кладками через Терек. Я — Егерев...» Я должен был опереться о стол, чтобы не упасть: «Вы — Егерев?!» «Я, Ираклий Иванович...» — Кикнадзе вздохнул, не без тревоги оглядел озеро. — Помоему, нашу лодку отнесло: гребите к берегу...

Лукин взялся за весла, помедлив — не сразу соберешься с мыслями после такого. Пока говорил Ираклий Иванович, лодку действительно сместило к середине озера.

— Его имя вам сказало все, Ираклий Иванович? — спросил Лукин — ему не терпелось услышать продолжение рассказа.

— Пожалуй, сказало, — согласился Кикнадзе. — Вы когда-нибудь были во Владикавказе? — вдруг спросил он. — Город стоит в том самом месте, где Военно-Грузинская дорога, прошив Кавказский хребет, выходит на равнину, — тот, кто держит в своих руках Владикавказ, во многом хозяин положения... Поэтому действия наших сил, как и сил врага, имели одну цель: овладеть владикавказской цитаделью. Город переходил из рук в руки. В тот день, о котором идет речь, белые ворвались во Владикавказ, когда шло заседание городского совета. Признаться, в этот раз по праву председателя я не успел, как делал в преж-

ние разы, сообщить план отхода, — выглянув из окна, я увидел на площади казаков — они уже вошли в город... С минуты на минуту они могли ворваться в здание и вытолкнуть на площадь — они имели обыкновение расстреливать на площади, они это делали не раз... От площади до знаменитой Сапицкой будки двадцать пять минут резвого хода. Спасение в паре дончаков, да пулемете, что был укреплен на заднем сиденье тачанки, стоявшей во дворе... Но в тот майский вечер девятнадцатого, о котором идет речь, тачанки не оказалось и надо было уходить пешим ходом — вслед за казаками на площадь ворвался броневой автомобиль и ударил по окнам совета. Надо было проникнуть в аллеи трека, так звали здесь городской сад, он подступал к зданию совета... К счастью, в треке все огни были загашены, свирепствовала тьма первозданная. Помню, что ворвался в заросли акации, густой, в жестких колючках — продирался, укрыв лицо руками, и жестоко искровянил руки. Рядом был Терек, деревянный мост через реку, его тут зовут кладки... Идти к кладкам через Терек не решился, выйти на кладки — обнаружить себя. — и ринулся к городскому театру: за его стенами дом присяжного поверенного Раздорского, он был у меня на приеме накануне, убеждал не конфисковывать его хоромов... Раздорский был известный в городе забияка, картежник и дуэлянт, в его доме собирались все состоятельные балбесы, они были у него в долгу, как в шелку... Одним словом, Раздорский был порядочный мот и чуть-чуть рыцарь. На это рыцарство Раздорского была вся надежда — я обогнул здание театра, укрывшись в его тени, перебежал улицу и позвонил в парадную дверь дома Раздорского, позвонил и отошел от двери, дав возможность присяжному поверенному рассмотреть меня. Раздорский рассмотрел, дверь открылась и я вошел в дом. «У вас все руки в крови — я перевяжу...» — сказал Раздорский и извлек из ящика письменного стола бинт. Он бинтовал мои руки, а самого бил озноб — он понимал, как опасно то, что происходит. Да, было забавно, как ходит ходуном и дрожит его большое тело — у него была

внешность Портоса из «Трех мушкетеров». Я понимал, что он порядочный трус, но он не осмелился меня прогнать — не разрешала порядочность, он, конечно, был порядочным человеком. Он перевязал одну руку и принялся за другую, когда раздался дверной звонок. «Идите за мной!» — крикнул Раздорский и толкнул меня в прихожую, в которой я уже побывал, когда входил в дом. Он открыл дверь, врезанную в стену, и, пропустив меня туда, закрыл, а сам поспешил к парадной двери, тем более, что звонок развоевался к этому времени не на шутку... Только сейчас я увидел, что сидел в шкафу, при этом настолько большом, чтобы вместить табурет — не иначе хозяин укрывал здесь своих друзей — очень удобное место для проигравшихся... как я заметил, дверь, за которой я сейчас находился, была массивной, но все происходящее в прихожей было слышно. «Кикнадзе у вас?» — услышал я, когда парадная дверь открылась и прихожая наполнилась топотом сапог — по всему, вошли казаки. «Что вы, господа, какой Кикнадзе?» И вот тогда раздалась команда: «Обыск!.. Самый тщательный!..» Я сидел в своем шкафу и слышал, как звенят стопы тарелок в столовой, как падают в кабинете хозяина из стеллажей на пол книги, как гудит рояль, который казаки катают из конца в конец гостиной, и где-то высоко-высоко кто-то гремит коваными сапогами по железу, нещадно вминая это железо... Потом подковы прогремели по винтовой лестнице с третьего этажа на первый и казаки собрались так близко, что я слышал, как один из них сосет сигарку, а другой гудит простуженными бронхами. Под конец они помянули недобрым словом всех присных и хлопнули парадной дверью, да так крепко, что с деревянной стены, за которой я сидел, посыпалась сухая замазка... Мне казалось, что Раздорский протянет руку и освободит меня из неволи, но он этого не сделал — я слышал его шаги, они ушли в глубь дома — не скажу, чтобы я что-то понял... — Кикнадзе умолк и оглядел небо, заметно потемневшее. — Не похоже ли это облако на грозовое? — спросил Иракий Иванович и указал на конус тучи, вставшей над горизонтом слева, — небо очистилось от тумана и туча над небосклоном была сейчас хоро-

шо видна. — Гроза идет на нас, не так ли? — Кикнадзе снял пиджак и положил на дно лодки, солнце забирало все выше, начало припекать.

— Казаки вернулись? — нетерпеливо спросил Лукин — ему дела не было до приближающейся грозы, он хотел знать, вернулись или нет казаки в дом Раздорского.

— Вернулись, разумеется, — Кикнадзе опустил руку в озеро и, сместившись к краю лодки, смочил волосы и лицо — было искушение достать платок и вытереть лицо, но он не вытер, хотелось, чтобы оно высохло на ветру, он дул слева, заметно свежий, пахнущий дождем, — тот край неба уже тревожила молния. — Кто-то видел, как я вошел в дом Раздорского, и настойчиво посылал туда казаков... Одним словом, казаки явились второй раз и меня не нашли. Но тот, наводящий, был настойчив — казаки пришли в дом Раздорского в третий раз...

— И нашли, Ираклий Иванович?

— Нашли, конечно, — вздохнул Кикнадзе. — Мудрено было не найти — они стали выстукивать стены одну за другой и нашли полую... Мне связали руки и вытолкнули на улицу — нет, до рассвета было еще далеко, там эта Столовая гора над городом, она была еще в тени. Настроение, которое владело в этот момент казаками, вернее всего было назвать гневной веселостью — за те два с половиной часа, которые они ухлопали на поиски в доме Раздорского, они порядком накалили себя... Именно гневная веселость! Но вот что меня озадачило: они не арестовали Раздорского!.. Было ясно, что укрывал меня он, но они не решились подвергнуть его аресту, взяли только меня... Это меня смутило... Что-то тут было мне непонятно, трудно сказать, что именно, но непонятно. И не только это... Меня конвоировали шестеро, пять казаков и офицер, он вел своего гнедого под уздцы, это давало ему возможность идти чуть поодаль, опережая нас шагов на пять. «Возвращайтесь — упга-а-авимся!» — сказал офицер и осторожно тронул плеткой плечи двух казаков, идущих впереди меня, — казаки отстали. Нет, не потому, что он стал мне

Савва Дангулов. Посольские записи.

виднее, поравнявшись со мной, а вот это характерное, со свистящей картавинкой «Уга-а-а-вимся!» выдало Егерев!.. Все-таки я прожил во Владикавказе почти год и знал здешний народ достаточно. В начале весны к белым сбежал директор здешней гимназии Кирилл Егерев, сын местного сахарозаводчика, известный бойскаут и спортсмен — его пируэты на роликах приводили в немалый восторг владикавказцев... Самые сильные гимнасты были в егеревской гимназии, кстати, группу сильных гимнастов на городских показах директор возглавлял сам, это делало его фигурой заметной... Ну, вот я и вспомнил, откуда мне известна эта свистящая картавинка, которую я услышал во время обыска в доме присяжного поверенного: Егерев был неистов в стремлении отыскать меня. Но, взлетев на своего ахалтекинца, он и бровью не повел, что знает меня. Его маленькая голова, закутанная в башлык, — ночи тут холодны и в мае — мрачно возвышалась надо мной... «Уходите и вы — уга-а-а-вимся с Еремой!» — взмахнул Егерев плеткой и отпустил еще двух казаков — сейчас их осталось двое: всадник и пеший... Да не решил ли он покончить со мной без свидетелей? — подумал я и взглянул еще раз на Егереву: кладки через Терек остались позади, мы шли сейчас затеречными переулками, перед нами открылся выгон, ветреный и черный, он прямо указывал на то, что такая перспектива не исключена... И я напряг свою память: как складывались мои отношения с Егеревым, он был мне другом или врагом? — Кикнадзе взял со дна лодки пиджак, набросил на плечи. — А вы знаете: туча идет прямо на нас — вон как потемнела вода, не так ли? — И правда, вода потемнела и на берегу зашумели кроны белолосток.

— Я действительно напряг память: как складывались мои отношения с Егеревым? Но я ничего не мог припомнить, решительно ничего... Он был исправным директором гимназии и я не успел выказать ему ни одобрения, ни порицания... Впрочем, однажды я говорил и с двоюродным братом Егереву, который преподавал в этой же гимназии математику, но это было уже после егеревского бегства. Я сказал тогда старшему Егереву, имея в виду поступок братца: «Подло, ничего не скажешь — подло...» Может быть, не-

истовство, с которым Егерев потрошил дом Раздорского, было определено этим моим словом, а может ненавистью к красным, всеобщей в этом кругу... Тот кого Егерев назвал Еремой, был казаком — «косая сажень в плечах». Шапку он надвинул на лоб, обнажив бритый затылок в жирных складках, бычий — и это меня повергло в уныние — палачей выбирают из таких. Единственно, что озадачивало — Ерема был кроток, не выказывал воодушевления. Быть может, кротость эта была от догадки: должность палача Егерев явно уготовил молодому казаку, по крайней мере казак мог так подумать. А я твердил себе: «Не теряй надежды, Ираклий». Почему твердил так? Жизнь моя началась не во Владикавказе и я побывал в переплетках порядочных. Чему они меня учили? «Не теряй надежды, Ираклий!» Однако мы не фаталисты — какой смысл повторять: «Не теряй надежды»? Надо что-то делать!.. Но что может сделать человек в моем положении?.. «Не теряй надежды, Ираклий!». А молодой казак поднял глаза на Егерева и быстрым движением, едва видимым, расстегнул кобуру своего нагана. Он это сделал, не останавливая взмаха руки, но Егерев заметил и реагировал тут же. «Вижу: ты... тгусишь, Ерема, уходи — сам уп-г-а-а-а-в-л-ю-сь!» — произнес Егерев и, подняв плетку, точно отсек Ерему от меня — молодой казак шарахнулся во тьму — по-моему, он был рад без ума... Теперь на степной дороге остались мы с Егеревым... Дорога была без рытвин и ухабов, гладкая дорога, ночь казалась безлунной, в звездах, дорога светилась... Может, оттого, что дорога была укатанной, удары копыт о грунт были гулки. Я вдруг подумал: конь отсчитывает мои последние минуты... И еще я подумал: «Не спускать глаз с его руки... Если она коснется кобуры, что есть силы прыгать в кукурузу и — дай бог ноги!..» И еще: идти с ним рядом, по возможности ближе к лошади; не очень-то удобно вывернуться с этим его громоздким маузером... «Что делать будем, господин Егерев?» — засмеялся я — хватило же силы засмеяться.

Я сказал ему это, когда плетка его была на весу — неровен час хватит по моей голове, но он не решил

ся пускать в дело плетку, а бросил ее и она повисла на этой ременной петельке, стягивающей кисть руки. «Вот что, Ираклий Иванович, уходите... И чем быстрее вы уйдете, тем лучше... Ну, живо!» Я шарахнулся в сторону от дороги и чуть не переломал себе ноги — у самой дороги был кювет. Мне казалось, что он ударит из своего маузера мне в спину, но было тихо — только трещали кукурузные будылья, которые я ломал на своем пути. Минут через пятнадцать, когда был далеко от дороги, услышал за спиной три выстрела. Думаю, что стрелял Егерев... Если Ерема был еще недалеко, пусть услышит эти выстрелы: надо было убедить Ерему, что Егерев порешил Кикнадзе...

Ираклий Иванович кончил и взглянул на грозовую тучу, которая точно остановилась над озером:

— По-моему, гроза прошла стороной — на Констанцу, к морю, не так ли?

— Пожалуй, — согласился Лукин и налег на весла. — Значит, «не теряй надежды, Ираклий!»?

— Не теряй надежды! — отвечивал Кикнадзе, смеясь. — Моя философия!

— А как синебородый Егерев? Как я понимаю, приглашение в дом с длинными коридорами преследовало определенную цель: вы должны были подтвердить, что Егерев спас вас, не так ли? Вы подтвердили, разумеется?

— Да, конечно...

— И спасли его?

— По крайней мере... облегчил его участь... Так мне кажется: облегчил, — подтвердил он, не отрывая глаз от тучи, — гроза прошла стороной, теперь было видно — стороной...

БЕЗЫМЯННЫЕ

ПРИШЛО приглашение из Констанцы. Приехал сам военный комендант Констанцы Сергей Уралов. Он приехал прямо в Снагов. Маленький, приятно-округлый, он был неторопливо-степенен. Эта степенность была им не благоприобретена. Она была ему свойственна всегда. На знаменитой фотографии, где Ленин в накинутом на плечи пальто идет по Красной

площади, есть и Уралов — он шагает по правую руку от Ленина, чуть опередив Владимира Ильича, как бы прокладывая ему дорогу. Уралова не просто знает — на нем по всей форме френч и брюки «галифе», что теперь он уже не носит, он при бороде и усах, что тоже ему теперь не свойственно — впрочем, если бы даже он их теперь носил, эти бороду и усы, вряд ли они у него были бы такими ярко-черными, как тогда. Единственно, что опознается, это степенно-го Уралова, быть может даже важность: рука положена за борт френча, в руке, возможно, пистолет, — чекист Уралов нес охрану Владимира Ильича.

Как можно понять Сергея Герасимовича, у него были дела в Бухаресте, и, возвращаясь в Констанцу, он решил заехать за Ираклием Ивановичем — уходит пароход с репатриантами, и Уралов просил посла быть на проводах. Если покинуть Снагов в шестом часу вечера, по нынешним летним дорогам к десяти можно быть в Констанце.

В посольской машине — Уралов («Виллис» уполномоченного идет вслед, а на переднем сиденье, как обычно, Лукин — всемогущий протокол не разрешает послу ехать одному).

Итак, машины пошли «цугом» степной Румынией.

Солнце было еще высоко, степь лежала, объята знойной мглой, давно не было дождя, и пыль, потревоженная идущими машинами, долго удерживалась над степью.

На прибрежной отмели реки лежало стадо, дожидаясь, когда спадет жара. Кони, войдя по колено в реку, пили, окунув больше обычного морды в воду. В те редкие минуты, когда они поднимали головы над водой, вода стекала с губ струей, вызванивая. Было слышно, как далеко-далеко за лиловой полоской небосвода идет поезд, а подле, за рощицей, тарыхтит молотилка.

— Как там генерал Вахтанг Гогоберидзе? — спросил Ираклий Иванович Уралова; он только вчера говорил с генералом по телефону и знал, что тот жив-здоров, но спросил Уралова единственно потому, чтобы завязать узелок беседы. — Как там наш Вахтанг?

— Опять уплывал в море бог знает куда, еле отыскали! — воскликнул Уралов — эти дальние заплывы стали для генерала родом недуга, да и везулову заметно прибавили хлопот. — Верите, Ираклий Иванович, нельзя человека подпускать к воде — только и ждет, чтобы выскользнуть и уплыть!

— Гогоберидзе — потиец, вырос на море, умеет плавать! — сказал Кикнадзе, не скрыв зависти: он-то, Кикнадзе, хотя и живет на Снагове, но отваживается входить в воду только с наступлением сумерек, да и то когда соседи расходятся по домам — вот прожил огневую жизнь, а плавать не научился.

— Да, генералу служить на флоте, а не командовать пластунами! — откликнулся Уралов. — Я сказал себе: за генералом нужен глаз да глаз, не уследишь — уплывет в Потю!

Они умолкли — впереди было сотни километров дороги и каждый точно примерялся к беседе, которая должна произойти, — с какого края подступиться к этой беседе.

— Давно берег этот вопрос, Ираклий Иванович: вы Каландадзе знали?..

Кикнадзе даже привстал:

— Какого Каландадзе? Зураба Каландадзе?

— Его.

Вопрос Уралова смутил Ираклия Ивановича. Небось подумал: где Уралов и где Каландадзе? Чего ему вздумалось спрашивать о Каландадзе?

— Знал, конечно.

— По Баку?

— По Баку.

— Расскажите, Ираклий Иванович...

Кикнадзе подумал: ну вот, как раз разговор до Констанцы, однако чего ради ему пришел на ум этот тихоня Каландадзе? Сколько он помнит Каландадзе, тот был тихоней, хотя дела вершил громкие... Куда каким громким было и это дело в Баку, которое, как можно подумать, имел в виду Уралов, когда заговорил о Баку и Каландадзе.

— Дело-то было почти сорок лет назад — сорок лет — не сорок дней! — вздохнул Кикнадзе. — Время, оно как ветер — как подуло, как подуло... все

выветрило! — он помолчал. — Честное слово, не ругаюсь, что все помню!..

— Что вспомните, то вспомните, — сказал Уралов сочувственно, понимая, что и Ираклию Ивановичу хочется рассказать о Каландадзе — в том, как он сказал о Каландадзе «тихоня», была симпатия к товарищу. — Что вспомните! Вот и Петр Кузьмич готов вас просить... Так ведь, Петр Кузьмич?

— Никуда не денешься, Ираклий Иванович, придется рассказывать! — поддержал Лукин — Уралов поставил его в положение почти безвыходное.

Шофер, оказавшийся невольным слушателем разговора, поубавил скорость. Он будто присоединился к Уралову, сказав: «Да стоит ли упорствовать, Ираклий Иванович? Расскажите!» Шофер был молчуном, одарял Ираклия Ивановича едва ли не словом за сутки, но слушать любил. Он был недавним танкистом, закончил войну в Праге, дорожил своим назначением в посольство и был горд, что возит посла.

Позади остался переезд, а вместе с ним перестук колес поезда.

— Человек познается в деле, — сказал Кикнадзе едва слышно, свидетельствуя, что замысел рассказа уже завладел им и необходимость говорить его не столько воодушевляет, сколько мешает ему. — Я сказал Каландадзе: «Оказия с деньгами уже отбыла из Астрахани и должна была прибыть в Красноводск сегодня вечером...» «Следующий пункт — Баку?» — спросил он и ласково моргнул, он умел так ласково моргать, что означало: он все понимает. «Баку», — сказал я. У него были ресницы как опахало, когда он ими хлопал вот так... хлоп-хлоп, это значило, что он все понимает. «Фаэтон с казной появится на площади в семь вечера, — сказал я. — Жара уже спадет, и на площади появится городская публика. Да, в семь, после того как на площади побывают пожарники и польют ее водой — там главные улицы поливали водой пожарники, поэтому пожары в предвечерние часы, как бы это сказать... отменялись! — Кикнадзе стрельнул в нас озорными глазами, улыбнулся. Он умел в самых напряженных местах рассказа улыб-

нуться. — О пожарниках надо помнить — это важно. Когда фэтон с железными ящиками появится на площади, площадь будет уже полита водой, и фэтон замедлит ход... Понятно?..» Мой друг Каландадзе продолжал ласково моргать, хлоп-хлоп! Он, конечно, все понимал, тихоня Каландадзе... «Теперь смотри сюда — я все нарисую», — сказал я и взял лист бумаги. «Вот площадь, ее четыре ребра, а вот здесь публика, она любит это место, в этот час ее здесь тьма... Когда фэтон с казной окажется рядом с публикой, надо пустить по ногам дюжину шутих... Понимаешь, шутих, которыми любят играть фейерверкщики в городском саду? Публика поперет на фэтоны и опрокинет их. Если не поперет, надо помочь ей...» Каландадзе продолжал ласково моргать. «Понятно?» — спросил я, раздражаясь. Я знал: он все понимал, а делал вид, что не понимает. «Ну, ты можешь ответить мне: понятно?» — повторил я, выходя из себя. «А если дождь?» — вдруг спросил он почти безучастно. «Что, что ты сказал?» — почти закричал я — он вывел меня из терпения. «Если... вот возьмет и пойдет дождь, как тогда?» «Пусть себе идет! — сказал я тихо. — Пусть идет!» «Как «пусть идет»? — переспросил он. — Если пойдет дождь, пожарные не приедут поливать площадь...» — заметил он кротко. «Погоди, но ты думаешь, что дождь выльет на площадь меньше воды, чем пожарные?.. Пусть идет дождь!» — закричал я, думая, что мой довод неопровержим. «Но публика не явится на площадь, если пойдет дождь... — возразил он почти кротко. — Возьмет и не явится!» Ну что ему можно было ответить? «Э-э-э... это уже фантазия! Ну, только подумай: зачем идти дождю? Все лето не шел, а теперь взял и пошел! Какая необходимость?..» — спросил я, стараясь быть как можно спокойнее. Но получилось так, как сказал тихоня Каландадзе, — можно сказать, что его пророчества и вызвали этот самый дождь... Да что там дождь, грянул ливень, какого местные жители не помнят...

Ираклий Иванович понял, что завладел вниманием слушателей, и позволил себе сделать паузу. Машина шла открытой степью, она поравнялась с большим степным колодцем и остановилась, водитель решил запастись водой. Пока крутился барабан, поднимая

бадейку с водой наверх, Кикнадзе взошел на макову кургана, откуда открывался вид на степь. Его спутники последовали за ним. Солнце не успело сесть и степь казалась золотистой, только в пойме степной речки, что лежала на отшибе, стекли сумерки, да отслоились первые хлопья тумана.

— Ну и как, ливень все сорвал? — спросил Уралов — ему, Уралову, этот рассказ наверняка говорил больше, чем всем остальным.

— Наше счастье было в том, что это был именно ливень, а не обычный дождь, — заметил Кикнадзе, возвращаясь в машину. — Ливень ударил и кончился тут же. Публика, измученная жарой, кинулась на площадь. Но как кинулась? Не без разбора! У каждого было свое место для прогулок. У рабочих — одно, у их хозяев-купцов — другое, у титулованной знати (и такая была в Баку) — третье. Площадь, о которой я говорю, была местом для избранных. Можно сказать, аристократическим пятачком. Клан знатных, их дети и, разумеется, офицерство... В городе стояло несколько полков, известных на всю Россию, — их офицерство было представлено в предвечерний час на площади. Это была в своем роде выставка чинов и регалий... Чтобы все это казалось обозримее, толпа была разделена на пары и, подчиненная законам движения, шла двумя потоками навстречу друг другу. Вот так! — Кикнадзе поставил ладони ребром, изобразив два потока, которыми двигалась толпа через площадь. — Видно, банк был где-то рядом: так или иначе, а железные ящики всем дорогам предпочитали дорогу через площадь. Когда гроза ушла за город, толпа мало-помалу приняла свои обычные формы и пошла друг другу навстречу, пошла неторопливо, радуясь хорошей погоде — небо очистилось от туч, глянуло солнце... Было условлено, что первый выстрел грянет, как только казна въедет на площадь, потом взорвутся шутихи, одна за другой, все двенадцать, потом фазтон с железными ящиками будет отсечен от стражи... И вот началось... Да, чуть не забыл!.. Последнее, что сказал Каландадзе: — «Надо взять эти железные ящики по возможности без крови!» И еще:

«Все разрешаю, кроме жертв!» Помню смятение Каландадзе и эти его ресницы, которые двигались как опахала — хлоп-хлоп! «Ираклий, что ты от меня требуешь? Ведь я иду на смерть!» Итак, все началось даже раньше, чем мы могли об этом подумать. Грянули выстрелы...

Ираклий Иванович умолк и открыл дверцу машины: машина шла низиной, где-то справа была река, это мы почувствовали по туману, который подобрался к дороге, да по запахам, разбуженным сыростью: тянуло дыханием стоячей воды, просыхающим илом, видно, вода отступила от берега.

— И захватил железные ящики тихоня Каландадзе? — спросил Уралов, ему изменило терпение.

— Унес, как миленький! — засмеялся Ираклий Иванович, засмеялся счастливо — удивительный смех был у этого человека, самозабвенный, бесконечно молодой, смеялся и все забывал, все невзгоды, которые выпали ему в жизни, а их, этих невзгод, у него было немало. — До сих пор не могу понять: откуда столько огня бралось у этого человека?

— Но сам-то он не мог это сделать, Каландадзе — ему кто-то помогал... — улыбнулся Уралов, он внимательно следил за развитием рассказа и ничего не хотел принимать на веру.

— Помогали, наверно... — он любил это ни к чему не обязывающее «навверно» — когда не хотел уточнений, говорил «навверно».

— Гогоберидзе сказал, что без вас Каландадзе не унес бы железные ящики... Так?

— Наверно, — засмеялся Ираклий Иванович и затах. — Что я помню! Крик сотен голосов, соединившийся воедино и превратившийся в рев, как мне кажется, ничего общего с голосом человека не имеющий... Картина паники отобразилась на мостовой и тротуарах площади, еще не успевших просохнуть после ливня: это было и смешно и печально — лежали зонтики, ридикюли из стекляруса, туфли на высоких каблуках, которые называли тогда французскими (на таких каблуках не ускачешь), оборванные бусы, шарфы, много шарфов (видно, при бегстве сорвал ветер), часики, точно они побывали в ступе... Было впечатление, что ограблению подвергся галантерейный мага-

зин, очень модный... Толпа, охваченная паникой, слепа и беспомощна, с нею можно совладать троим, если действуют как один человек. Главное: действовать как один человек, то есть в такой мере понимать друг друга, как может понимать и действовать один человек. Один в состоянии победить сто...

— Тогда, в Баку, обошлось без жертв? — спросил Уралов.

— По-моему, без жертв, — ответил Кикнадзе.

— Но не всегда так бывало?

— Можно предположить: не всегда.

Небо смерклось, как случается на степном юге, смерклось мгновенно, глянули звезды, и впереди, за равнинной гладью, за перекатами курганов, порозовело — Констанца была там, там было море — оно дышало теплом.

— Гогоберидзе говорит: были ребята и хорошие ребята, которые не хотели участвовать в налетах на инкассаторов... — заметил Уралов; все, о чем шла речь, он знал лучше остальных. — Говорили: «Недостойно человека идейного — разбой...»

Кикнадзе засмеялся, теперь не без печали.

— Какой разбой?.. Разве я взял эти деньги себе? Или Каландадзе взял? Нет, я не считал это разбоем, — произнес он. — Все двести тысяч пошли на революцию! На оружие для революции! Я сам пригнал из Болгарии в Сухуми транспорт с карабинами, — он задумался. — Да как можно так думать о них? Многие ушли от нас, ничего не требуя, были такие, что ушли, даже не оставив имен своих... Только подумайте: не оставив имен своих... Иногда думаю: вот стоит памятник этим людям, а имен нет. Сколько ни смотри, гладкий камень — безымянные...

Машина взлетела на холм и открылось море, со всем рядом.

— По-моему, это Гогоберидзе. — сказал Уралов, всматриваясь в морскую даль. — Вон там, справа, за темной полосой течения, за волнами, — протянул он руку. — Его волнами застигает, сейчас появится...

— Гогоберидзе поплыл в Потю, — улыбнулся Ираклий Иванович.

Машина пошла в Констанцу.



Манана ГВЕТАДЗЕ

Высота

ПОЭТИЧЕСКАЯ участь Анны Каландадзе, как участь любого национального поэта, такова: у каждого читателя есть своя Анна Каландадзе, свое любимое стихотворение, любимый образ. И каждый любит ее поэзию по-своему, у каждого — свой, отличный от других, взгляд на ее творчество.

Недавно вышла в свет новая книга ее стихов, скромно озаглавленная «Стихотворения». Она никогда не дает своим книгам каких-то особых названий, они всегда бывают лаконично и непретенциозно названы «Стихотворения» или «Избранное».

Как правило, новая книга никогда не состоит полностью из новых стихов. Поэты не могут отказаться от тех стихотворений, которые стали определяющими для их творчества, по которым, как по вехам, можно проследить их творческий путь. Не явилась исключением и эта книга.

Все мы знаем, как начиналась Анна Каландадзе — внезапно, со всеобщего признания. Это было в первые послевоенные годы, когда в грузинской поэзии вновь назрела необходимость в интроспекции, в спокойном восприятии предметов и явлений, в медитации, которые пришли на смену мощной публицистической струе. Анна Калан-

дадзе была поэтом именно этого направления. Новым было звучание ее стихов, стилистическая архаика некоторых из них, удивительно согласованная с содержанием, являла собой модернизацию грузинского стиха, а богатейшая образность пленяла читателя. Для примера можно назвать известное стихотворение «Тута» или же «Дайры» — прекрасную своего рода имажинистскую зарисовку, даже звучанием напоминающую игру на дайре. Нравилась читателю и качающийся на тоненьком стебельке пьяный мак на могиле Омара Хайяма, и лежащий на вершинах Джавахетских гор снег, и застенчивая курдянка с фиалками в руках. Нравилась потому, что не могли не нравиться, потому что были порождены истинным талантом. А вот еще написанное с молодой страстью и силой: «И в минуту самую грустную предо мною одна, дорогая, ты, прекрасная Грузия!» И кто знает, сколько еще таких строк, ставших хрестоматийными.

Уже в первых стихах появляется медитация, разумеется, рядящаяся в другие одежды. Таковы, например, стихи с попыткой романтического прочтения извечных вопросов. Из стихотворений этого рода несомненного внимания заслуживает «Кладбище». Тут и романтический «полный тоски ветер», и «молчаливые гробницы», но на удивление осязаема и боль поэта.

Анна Каландадзе вводит нас в мир грузинской интеллектуальной поэзии не столько посредством собственно поэтических аксессуаров, сколько строем своего мировоззрения, своеобразным восприятием предметов и явлений. Медитация органична для ее поэзии, как была она органична и для наших романтиков, и не только органична, но и подчеркнута характерна. Как известно, основной пафос медитативной лирики заключается в том, что она пытается отобразить собственно поток мыслей и эмоций, в отличие от логического, четко сформированного мышления, которое характеризует философскую лирику. В стихах Анны Каландадзе чаще ставится вопрос, нежели дается ответ, упор делается на чувствах, эмоциях, хотя постоянно чувствуешь вдумчивого поэта. В каждом явлении она видит больше, чем само явление, поэтому большинство ее стихотворений многозначно.

С самого же начала определился один поток в лирике Анны Каландадзе — стихи, написанные на историческую тему. Поэт блестяще знает прошлое Грузии. Тема прошлого вновь связывает Анну Каландадзе с романтиками, но отношение к теме, несомненно, претерпело изменения. Это и понятно, невозможно представить себе, чтобы литературное течение, возникшее на рубеже XVIII—XIX веков, обусловленное временем и обстоятельствами, без изменений было усвоено поэтом в XX веке. Мы можем

говорить всего лишь об элементах романтизма. Для раннего же творчества Анны Каландадзе по сравнению с ее нынешней поэзией романтический поток особенно характерен. Обращение к историческому прошлому Грузии дает возможность поэту показать собственную позицию, сказать свое слово. К примеру, можно назвать замечательное стихотворение, посвященное Давиду Строителю.

Во многих стихах Анны Каландадзе встречается мысль о бренности бытия и в то же время его извечности, о тайнах законов мироздания. Это тоже идет от романтизма. В одном из своих ранних стихотворений Анна Каландадзе писала: «О, есть нечто, что заставляет нас сильно задуматься...» Но у поэта нет желания до конца постичь все тайны:

Не приближайся ты, звезда зари,
Не приближайся:
Ведь видишь, от страха клонятся к земле
Вновь мои ветви,
О, не забавляй меня вновь
каждым мигом счастья.
— О, что ты, это... иной таинственности
исполненный миг.
Не приближайся ты, таинственность,
Не приближайся¹.

Эта линия углубляется в созданных в 70-е годы стихотворениях.

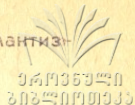
Особое место в поэтическом мире Анны Каландадзе занимает природа. То как эстет она любит ее красотами, то как мыслитель задумывается над ее закономерностями:

На голубые горы незримая нисходит благодать
И трепещет в голубых озерах, в глазах голубых озер...
Это земля, земля вечно полнится
Теми чувствованиями, которые никогда не исчезают в
ее душе...
О, невидимые, вновь восславляю ваше владычество...

Но часто пейзаж только прочувствован, и несмотря на это все-таки удивительно велико его воздействие. Природа здесь

¹ Здесь и далее стихи даны в подстрочных переводах.

одухотворена, персонифицирована (что также присуще романтизму).



Скинул лес свое покрывало,
Вдоль дороги тихо бредут березы..
Проснется где-то мак
И он тоже последует тихими тропками...

Тут каждый предмет не только узиден, он пережит: поэт не просто созерцатель... Пейзажи Анны Каландадзе субъективны — в них важны взаимоотношения поэта с предметами. Нельзя и тут не вспомнить романтиков.

Поэзии Анны Каландадзе не присуще столь характерное для современной поэзии ассоциативное мышление. В ее стихах вы не встретите лежащих в разных плоскостях явлений, объединенных всего лишь взглядом поэта. Нет, в ее поэзии земля — горячая, небо — бездонное, свеча — святая святых и т. д. Это традиционное осмысление явлений придает своеобразный облик ее поэзии, роднит ее с классической.

В своем творчестве Анна Каландадзе не раз обращалась к стилизации народного стиха. И в этом она тоже следует традициям романтизма (мы не имеем в виду грузинских романтиков). Как известно, именно романтики впервые придали гражданское звучание народному стиху. Интонация народного стиха не мешает Анне Каландадзе высказать глубокую мысль или создать нужный настрой. Таков, например, прекрасный цикл стихов «В Пшавии». Поэт часто обращается к стилю народного стиха и всегда с успехом, нередко используя в них диалоги в форме вопросов и ответов.

В статье, опубликованной в 1969 году в «Цискари», я высказала мысль, что некоторые стихи Анны Каландадзе напоминают образцы японской поэзии, напоминают не точностью исполнения, а принципом исполнения. То же самое сказал впоследствии и Лев Аннинский в предисловии к русскому изданию стихов поэта. Это замечание тем более знаменательно, что он, разумеется, не знал о существовании моей статьи.

Приведем пример стиха, напоминающего образцы японской поэзии:

Ты: внемлешь мне так, как внемлет солнце океанам,
И подобно ему изливаешься в меня..
В твоих глазах мерцающая лунная камея

И большая звезда радости...

Будешь ли вновь внимать мне, как внемлет солнце океанам
Изольешься ли в меня, как оно!

Лирический герой Анны Каландадзе—человек высоких моральных устоев, дающий оценку явлениям с высот своей нравственности.

— Распните его!

И... в мутные воды...

Каждый ищет свою жертву...

Будь бдительна, душа, сердце, будь бдительно —
Иерихонская возвестит труба.

В стихах Анны Каландадзе часто встречаются библейские образы, пассажи, перифразы из евангелия, использованные иной раз в качестве эпиграфа цитаты. Особенно много их в написанных в последнюю пору стихах. Поэтический цикл Анны Каландадзе, опубликованный в 1974 году в «Цискари», натолкнул меня на мысль, что в творчестве поэта начался качественно новый этап. Но когда я прочла написанные после него стихи в новой книге, я убедилась, что они являются логическим продолжением созданного доньше (я имею в виду, разумеется, определенную часть стихов). Вспомним:

Я следую за твоим голосом, который призывает меня
взлететь в небо,

Я слушаю твой голос, который рассказывает мне
таинственное,

Я принимаю ту жертву, которую просит твой же жертвенник,
Наполнюсь твоей же скорбью, столь искренней.

О, ты приблизься ко мне навечно в трепете лучей,
Захоронено тобой как жемчуг
Мое замолкшее сердце.

Или другое стихотворение:

Я надену на тебя красивый венок
И поведаю тебе мою земную тайну, о, в мыслях моих
Я поднимусь на твое синее небо, для тебя буду сиять,
Запылаю и сгорю для тебя.

К кому обращены эти строки? Я позволю себе процитировать самое себя: «У Анны Каландадзе есть несколько стихотворений, которые заслуживают особого внимания. Как известно, в гру-

зинской лирике, в особенности у Акакия Церетели, под возлюбленной чаще всего подразумевается родина. И в восточной лирике подчас трудно провести четкую грань, определить, имеет поэт в виду — возлюбленную или бога. В иных своих стихотворениях Анна Каландадзе следует этой старой традиции: родина, возлюбленный, божество преломляются сквозь одну призму, и трудно сказать, к кому в итоге обращается поэт».

В русской поэзии можно назвать Александра Блока, у которого в особенности много таких стихов-«ребусов» (термин Антокольского применительно к стихам Блока), где трудно понять, к кому обращается поэт — к любимой женщине, богу или родине. Известно, что Блок был тесно связан с символизмом, поэзия его полна христианских аксессуаров, так же как поэзия многих символистов. Но, казалось бы, невозможно связать с символизмом генезис стихотворений Анны Каландадзе, написанных в последние годы. Ее лирика обращена на национальную, грузинскую почву, она звучит так, что на первый взгляд может показаться — все общие вопросы, поднятые в ней, важны только для поэта и только для Грузии. Но это не так.

Кроме христианских постулатов, в стихах последнего периода осязаемо чувствуется мистицизм, который и раньше не был чужд ее лирике. Многие ее стихотворения проникнуты таинственностью. А таинственность, мистицизм на рубеже двух веков подчеркнута характерны для поэзии символистов.

Если поэзия начала XIX века была отмечена печатью романтизма, в поэзии начала XX века определяющим стал символизм. Разумеется, я не провозглашаю Анну Каландадзе символистом, но, думая о генезисе ее лирики, вижу точки соприкосновения с символизмом.

Последние стихи Анны Каландадзе своим звучанием напоминают образцы грузинской духовной поэзии. Я думаю, это — сознательная стилизация, так же как циклы, написанные на манер народного стиха. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что они весьма современной конструкции.

Зазвонили к вечерне, о сестра моя,
И открылись заветные врата:
Зовет тебя в свой дом твой владыка.
Если меня позовет мой владыка,
Увенчаю себя венцом радости,
Чтоб еще полнее сщутьить себя.

Манана Гветадзе. Высота.

Осенит меня священное сияние
Аметистами и жемчугами,
Если позовет меня мой владыка.



И хотя адресатом стиха, по всей вероятности, является Шустаник, он вызывает много иных ассоциаций. Позднее творчество Анны Каландадзе отличается некоторым аскетизмом в смысле образов и иногда даже носит печать декларативности.

Вы предлагаете... мне пойти на распятие
— чтоб успокоилась душа.
Чтоб предалась слезам скорби.
Исторгнет душа могучий ураган,
И изольется из меня демоническое.
Я жажду небесного огня,
Сретения своих помыслов и желаний,
А вы... вы же предлагаете пойти на распятие
И предаться навек слезам скорби.

Но мы не должны думать, что Анна Каландадзе пишет ныне стихи только в этой тональности. В означенный период ею написаны и другие стихи, и довольно много. Они отличаются и фактурой, и запоминающимися образами:

Разожжет в горах старик огонь
И будет рассказывать об отаре.
Темнеет небо над Аразиндо,
И волчьим глазом сверкает луна.

В своем творчестве Анна Каландадзе не поддается соблазнам экспериментаторства. Хотя в стихах последних лет по сравнению с предыдущими интересна одна деталь, казалось бы, непривычная для поэта — привнесение разговорной интонации.

Видно, все-таки некоторые современные тенденции прочили в художественный арсенал ее творчества, но магистральный путь поэта неизменен.

Стихам Анны Каландадзе присуща, если можно так выразиться, врожденная музыкальность, им чуждо внешнее украшательство. Они удивительно гармоничны. Несомненно, свою роль в их звучании играют архаичные слова и формы, к которым с большим чувством меры и такта прибегает автор. Иной раз Анна Каландадзе использует ту форму множественного числа грузинской речи, которая уже сама по себе придает стихам возвышен-

ное звучание. Как правило, предпочтение она отдает малой стихотворной форме, состоящей обычно из трех-четырех строчий.

Поэзия Анны Каландадзе, несомненно, своеобразный феномен нашей действительности, хотя бы потому, что она неподражаема по манере письма. Гармоничный лирический герой ее поэзии часто находится в диспропорции с несколько дисгармоничным героем современной поэзии. В данном случае разговор идет не о качественном соотношении, а просто об отличии. Хочу отметить и то обстоятельство, что молодая грузинская поэзия все больше и больше отдаляется от поэтического мира Анны Каландадзе. И это, естественно, имеет свои причины. Я не берусь давать оценку этому явлению, просто констатирую как факт. Хочется привести слова Эренбурга из «Французских тетрадей»:

«Стремление толковать различные явления искусства как ступени его прогресса или регресса зачастую мешало правильно воспринимать замечательные произведения. Рафаэль долго считался вершиной итальянского Возрождения. При таком толковании Джотто был неумелым учеником, а мастера Кватроченто — подмастерьями. Между тем Учелло и Мазаччо писали иначе, чем Рафаэль, не только потому, что не обладали опытом, но и потому, что хотели выразить нечто другое, присущее жизни и мироощущению XV века».

Я могу добавить только одно, что Рафаэль все-таки остался Рафаэлем.



Шалва ПОРЧХИДЗЕ

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПАЛИТРА МАСТЕРА

П ОЯВЛЕНИЕ ярко выраженных, глубоко своеобразных талантов не раз воспринималось с недоверием. В этом нет ничего удивительного: общественное мнение, определяемое принципами господствующего художественного мышления, не сразу принимает новые, неожиданные образы и средства их выражения; нужно время, чтобы любое смысловое либо формальное новшество получило право на жизнь, если оно действительно имеет на это право.

Примеров тому множество. Современники долго не понимали и не принимали творчества Важа Пшавела, и в дальнейшем, уже после смерти великого поэта, многие отрицали значение его творчества. Им были чужды форма его стихов, крайне своеобразное поэтическое мышление, истоки которого следует искать в древней грузинской литературе, в древнейших грузинских сказаниях. Одной из причин этого, возможно, являлось и то, что в тот период, когда появились лирические и эпические шедевры Важа Пшавела, грузинский народ был захвачен острыми национальными пробле-

мами, выразителями которых являлись Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели. Но время, самый строгий и объективный судья, расставило все по местам.

Подобная же участь постигла и Симона Чиковани.

Он пришел в литературу, когда новую грузинскую поэзию уже украшали «Артистические цветы» Галактиона Табидзе и бразды грузинского поэтического слова вместе с Галактионом держала группа «голубороговцев», лидеры которой подосознательно, возможно, даже соперничали с великим поэтом... Они прошли школу символизма и в совершенстве владели модернизированным поэтическим словом, поэтикой. Молодой Симон Чиковани стал главой футуристов и, стремясь обрести собственный поэтический путь, полностью отмежевался от всех существующих к тому времени литературных группировок.

Творчество Симона Чиковани этого периода, несмотря на его неверную литературную позицию, отличается глубоким своеобразием.

Оно проявляется главным образом в его стиле и синтаксическом строе. «Синтаксис—дар души»,—говорил Поль Валери, несомненно имея в виду поэтический интеллект и изысканный вкус. Однако изысканный вкус не исключает определенной «неотесанности» (Д. Дидро), которая таит в себе первозданность творчества и с особой эмоциональностью передает поэтическую мысль.

Именно эта «неотесанность» в сочетании с интеллектом и изысканным вкусом характеризовала Тициана Табидзе и Симона Чиковани, и это объясняется отнюдь не их творческой небрежностью, а, так сказать, завидным поэтическим своеобразием, которое оказывает сильное воздействие на читателя. Поэтическое своеобразие вовсе не подразумевает «чарующей, красивой» туманности, к которой прибегают иные поэты, чтобы скрыть духовную пустоту, скудость мысли.

Угловатая фраза нередко вносит свежую, искреннюю, лирическую струю в стихотворения поэта. Симон Чиковани, безусловно, в совершенстве владел секретом подбора поэтической лексики, удивительного выражения поэтической мысли.

При чтении его стихов порой создается впечатление, что строки в них не связаны между собой, что они живут обособленной, самостоятельной жизнью, однако в общей сложности они создают красочную поэтическую картину со своим подтекстом и тончайшими нюансами.

Поэтическая палитра Симона Чиковани столь богата кра-

сками, что кажется, стихи поэта, как и его любимые гранитовые и оливковые деревья на закате, пронизаны некоей переливающейся туманностью, красота поэзии здесь зрима постоянно в поисках непохожих мелодий, интонаций, оттенков, самозабвенно работает над слиянием живописного рисунка и мелодии. «Нет у меня слуха, и смею я петь, приди же, подари мне око природы». «Око природы» — это феномен, знающий, чувствующий красоту и великую гармонию жизни. И чтобы ощутить, воспринять и выразить эту гармонию, поэт переносит акцент на внутренний слух, не доверяя «одному только уху». Благодаря этому внутреннему слуху ему открывается таинственный свет поэзии, ее «зримая красота». Поэт сравнивает рукопись с цветущим садом, с горячими углями, не переменным атрибутом стиха он считает цвет, достоинством возвышенной поэзии — благозвучие, безупречную мелодию.

Сложные поэтические видения Симона Чиковани, его дар постигать суть предмета и художественного образа порой не приемлют свободного, легкого движения строки. Поэта больше заботит своеобразие художественного образа, необычный поворот мысли, нежели гибкость и легкость стиха. Его стихи настолько перегружены образами и красками, что порой теряют классическую простоту и непосредственность, приобретая, однако, больше свежести и самобытности. В этом неповторимость, привлекательность стиля поэта, его поэзии вообще.

Однако нельзя сказать, что Симон Чиковани не разделял принципов классической поэзии. В молодости он изучил творчество великих русских и грузинских поэтов и, учитывая их опыт, внес определенный вклад в модификацию грузинского стиха двадцатого века. Фанатично влюбленный в поэзию, он никогда не довольствовался достигнутым, его постоянно преследовало чувство неудовлетворенности. Поэзия Симона Чиковани до конца сохранила и некоторые черты эклектизма мышления и формы, но, как говорил Белинский, нельзя спрашивать поэта, почему у него есть то и нет этого, не долг критики заметить, что у него есть и чего нет.

Под влиянием футуристической поэтики Симон Чиковани поначалу склонялся к фальшивой, искусственной поэзии, однако благодаря безошибочному вкусу и интуиции преодолел в себе это и в 30-е годы предстал перед читателем как поэт оригинальной музыкальной тональности и своеобразного почерка. Это было время развертывания в нашей стране индустриального строительства, создания объединенных предприя-

тий, электрификации, полной коллективизации. В этот период поэт создал ряд интересных стихотворений: «Сумерки в Хахмати», «Хевсурская корова», «Ушгули», «По тропинкам Важа Пшавела», «Вечер расставания» и многие другие, в которых отразились подъем новой жизни, думы и благородные чаяния нового человека. Однако поэтический талант Симона Чиковани полностью раскрылся и проявился в сороковые годы, когда он подряд опубликовал цикл своих лирических стихов, содержащих глубокую поэтическую мысль, и одну из своих лучших поэм «Давид Гурамишвили»...

Острой болью отзывалось в поэте исполненное катаклизмов историческое прошлое грузинского народа. Он часто ездил по стране, любовался башнями и крепостями Сванети, сказочными пещерами Тмогви и Вардзиа, произведениями великих мастеров прошлого, запечатленными в камне... В результате родились вдохновенные строки о Грузии:

Кто сказал, что будто бы мала
моя отчизна, Картли дорогая,
что словно малый диск она легла?
Кто выдумал: мала земля родная?

Измерь-ка крылья ураганов гор,
ущельями зажатых и ревущих,
измерь-ка рек клокочущий костер,
льды купсла, вонзившиеся в тучи.
Рукою, что в бою закалена,
коснись ворот Дербентских, взятых в сече,
тогда откроется она —
моей отчизны бесконечность!

Кто сказал, что будто бы мала
моя отчизна, Картли дорогая,
что словно малый диск она легла?
Кто выдумал: мала земля родная?

В этом стихотворении поэт открывает перед нами великое историческое прошлое родины, безграничную творческую энергию и жизнеспособность грузинского народа, которые столь ярко проявились в живых красках и орнаментах храмов и крепостей, возвышающихся на горах и холмах Грузии.

В годы Великой Отечественной войны Симон Чиковани

создал лучшие образцы патриотической лирики. Это стихи «Платок», «Скажем отчизне», «Раненый», «Сказанное во время бомбежки», «Осколки миски», «Грузинская мать» и много других, в которых поэт призывал к защите Родины. Он вдохновенно воспел мать-грузинку, которая проводила на войну девять сыновей и сама пошла вслед за ними, благословляя их, и когда один из них погибал на поле боя, мать передавала знамя другому своему сыну. Это стихотворение — скорбный отголосок кровавой истории Грузии, Марабдинского сражения, в котором пали девять братьев.

В 1942 году Симон Чиковани создает подлинный шедевр патриотической лирики — «Привидение», которому предпосланы замечательные слова Ильи Чавчавадзе: «Всегда и везде, Грузия, я с тобою, я — бессмертный дух твой».

Стихотворение наглядно демонстрирует животворность вдохновенной фантазии поэта, его поэтического мышления. В тяжелую для родины пору бессмертный дух грузинского народа является поэту в виде старца на вершине Казбека, и старец этот — «свидетель первого очага грузинского народа», олицетворение бессмертия народа, его энергии, разума.

Чуть раньше Симон Чиковани опубликовал два цикла: «Со двора я вышел на дорогу Грузии» и «Армазские видения», в которых во всей полноте проявились внутренняя энергия поэта, артистизм, глубокое поэтическое мышление и искреннее, трепетное отношение к человеческому горю и радости. В эти циклы вошли стихотворения «Потеря сестры», «Утешение», «Первая приписка к книге», «Посаженное сестрой унаби», «Отец», «Мечты отца», «Моя мать», «Сомнение» и другие. В них отразились переживания, печали и радости человека, его повседневная жизнь. Поэт обобщил конкретный факт — утрату сестры и сложил глубоко философскую «песнь жизни», при этом он придал своим интимным чувствам и переживаниям общечеловеческое звучание, а поэтической фразе — большую смысловую нагрузку, большую эмоциональную силу. В этих стихах лирический голос глубже и теплее, краски сдержанны, слово изящно, настроение — заразительно, крайне эмоционально, впечатляюще. Поэт думает об угасшей жизни сестры, вспоминает посаженное ею дерево, смотрит на пожелтевшие листья, и ему кажется, что «у унаби болят корни» и оно с горя роняет на траву красные спелые плоды. В памяти его оживают прошедшие дни, вспоминаются горести прошлой жизни, и, охваченный тревожными чувствами, он видит призрак умершего отца:

Он стоит, не скрывая обиды,
Опираясь на тот же костыль;
И по дему под ветром Колхиды
Дождевая проносится пыль.
Вот он кашляет глухо — он болен,
Воду пьет и чуть слышно потом
Говорит, что невесткой доволен,
Что моим он доволен жильем.

Читая это стихотворение, нельзя не почувствовать боли сердца, боли, вызванной трагическими явлениями жизни, и вместе с тем нельзя не испытать радостного творческого волнения, врывающегося в сердце как ураган.

С тем же вдохновением написаны лирические творения Симона Чиковани: «Моя мать», «Плющ развалин», «Рожденный из крепостной стены». Они рисуют светлый образ матери, которую поэт не помнит: «Мать моя умерла рано, не сохранился в памяти ее образ». Он хочет представить реальный облик матери и с помощью поэтического воображения воссоздает удивительный художественный образ:

Мама, тени могильные злы и густы.
Мне осталось в колодезь глядеть с высоты, —
В эту воду, наверно, глядела и ты,
На поверхности запечатлевши черты.
Может, пламя, что здесь в очаге занялось,
Это ответ твоих золотистых волос?
Может, дымка затейливо вьющихся лоз —
Это твой поясок... Я не вижу от слез.

Образ матери повсюду видится поэту, она везде и во всем как бессмертная душа, неиссякаемая жизнь, животворный свет солнца, творец всего доброго. И облик матери входит в душу поэта, как исполненное драматизма прошлое грузинского народа, как неприступная грузинская крепость — свидетельница нескончаемых войн и славы родины. Такие ассоциации возникают при чтении стихов «Плющ развалин» и «Рожденный из крепостной стены».

Я был замурован в стене крепостной.
Развалины эти меня родили.
Упал со стены я на берег речной,
лежу у подножья в холодной пыли.

**И плакала мать-стена в вышине.
И встал я в рубахе из диких плющей,
и слезы и пот утирал я стене —
горячих страданий горячий ручей.**



Безусловно своеобразие поэтического мышления Симона Чиковани, словесной фактуры его качественно нового стиха, индивидуального почерка, отношения к форме. В этом смысле интересны «Древняя Мцхета», «Раздумья о Серафите», «Хвала Серафите», «Зову Серафиту» и «Гранатовое дерево у гробницы Серафиты». Невозможно передать тепло и нежность, пронизывающие эти стихи, надо прочесть их, прочувствовать. «Мцхета, Мцхета, Грузии основа!» — звучит исполненный грустной радости голос поэта, и мы живо представляем древние жилища грузинского народа, обратившуюся в пепел красоту, олицетворенную в нашем представлении в образе Серафиты. В этих стихах нет и намека на повествование, они дышат страстью, главное в них — движение души. В грузинской поэзии редко встречается подобное драматизированное восприятие прошлого: «Как вникал я в твоё многолетие, Мцхета. Прислонившись к тебе, ощущал я плечом мышцы трав и камней, пульсы звука и цвета, вздох стены, затрудненный огромным плющом».

Лексика Симона Чиковани крайне своеобразна и богата. Каждое его слово обладает собственным звучанием, отликает своими красками. Если к тому же добавить индивидуальное восприятие обвитых плющом и лозой, ветвями гранатовых и оливковых деревьев крепостей и башен, служащих фоном для незабываемых образов матери, отца, Грузии и мудрого старца, о котором речь шла выше, можно смело утверждать, что творчество его в какой-то степени перекликается с творчеством Давида Гурамишвили и Важа Пшавела. Именно к этим поэтам он обращается чаще всего, прося благословения, именно в их творчестве он усматривает истоки своей поэзии.

**Орел свирепеет от огненных знаков.
Он в ответах пламени весь, как в крови.
Всю ночь я борюсь с ним, как праотец Яков,
и утром прошу его: «Благослови».**

**Мудрец, загадавший полуночью зимней
— вот этот рассвет и вот эту мечту,**

будь тоже поддержкою мне, помоги мне,
шум роцц помоги понимать на лету.



Однако не следует думать, что Симон Чиковани этих поэтов выше всех. Он с благоговением относился к великим мастерам грузинской поэзии: Руставели и Теймуразу, Николозу Бараташвили и Илье Чавчавадзе, Акакию Церетели и переписчикам «Витязя в барсовой шкуре», которым посвятил прекрасные стихи и литературные статьи.

В годы Великой Отечественной войны Симон Чиковани создал прекрасный образец лирической поэмы — «Песнь о Давиде Гурамишвили», в которой выразил благородную идею дружбы и братства народов, воспел добрые взаимоотношения русского, украинского и грузинского народов. Описывая жизнь и деятельность Вахтанга VI, Саба Орбелиани и Давида Гурамишвили, он попутно рисует великолепные образы прогрессивно мыслящих людей, их современников. Он воссоздает исторически верную картину политико-экономической и материально-духовной жизни Грузии XVII—XVIII веков и пишет прекрасные философские стихи о жизни и смерти, о вечности бытия и мимолетности жизни, о рождении и назначении человека:

И я внезапно позван был в поход.
В тот день в лесу грибы ты собирала.
О, сада юности цветущий свод,
Как я искал тебя, а ты не знала!

Достался жребий мне — идти в поход.
Взгляни мне вслед, о лютик мой медвяный!
Пусть мне вослед ветвями сад махнет,
Как твой платок узорный, из тумана!

Пусть мой собрат из шлема отошьет,
Пусть боль моя потомку станет благом,
И пусть он слезы надо мной прольет
И осенит меня грузинским стягом.

Этот лирический монолог Давид Гурамишвили произносит, когда его неожиданно призывают на войну, и он удивительно переключается с думами и настроениями современного че-

Шалва Порчхидзе. Поэтическая палитра мастера.

ловека. Не будем говорить о внутренней энергии стиха, о построении, удивительной мелодике его, безупречной интонации. Скажем только, что подобных, исполненных тончайшего лиризма монологов в поэзии Симона Чиковани не много.

Симон Чиковани самозабвенно любил родину, свой народ. «Уже полсолнца в море, так олень, бросаясь в плывь, по грудь уходит в воду. Но тополя мегрельских деревень, как девушки, толпою ждут захода, наряженные в шелест во весь рост» Поэт рисует колоритные картины родного края, вспоминает детство, поющий камин, «пепельницу из раковины». «В приставший к раковине пепел смотря, под лампою большой следил я сказки длинный лепет, Рионом вдруг шумевший над душой...»

С большим чувством написаны стихи Симона Чиковани: «Вечера Картли», «Садовник Картли», «В Атенском ущелье», «На ртвели», «Олени на гумне», «На балконе колхозника», «Охота, высеченная на камне», «Старик из Атени». Они рассказывают о жизни современного человека, его устремлениях и достижениях, осмысленных в жизненном, философском аспектах человеческого бытия. Поэт видит, как старик моет большой кевври: «В кувшин подземный для вина забрался дед с большой скребницей, на небо смотрит он со дна, бормочет, булькая водицей...»

В стихотворении «Садовник Картли» поэт вдохновенно пишет о руках человека-труженика: «Ладонь правой руки его похожа на карту, на ней обозначены корни фруктового дерева...» Зажженное в руках садовника огниво напоминает поэту только раскрывшиеся алые бутоны фруктового дерева, и он в двух строках дает нам почувствовать красоту цветущего Атенского ущелья: «Словно воздух пригоршней несешь, что запахом персика по ущелью носится». В этих строках проявляется нежность души поэта и его дар особого восприятия предмета или события.

Образность поэзии Симона Чиковани, своеобразие и новизна художественного слова, поэтической фразы, ритм оригинальных свежих строк и, что главное, неожиданность сравнений художественных образов в целом настолько очевидны в этом стихотворении, что комментарии излишни.

За десять лет до конца жизни, в пору истинной поэтической зрелости, Симон Чиковани создает стихотворение без названия «Есть между юностью и зрелостью...», которое занимает особое место в грузинской поэзии, как, впрочем, и все его творчество. Очевидно, оно явилось результатом долгого твор-

ческого горения. С особой силой в нем проявились душевные муки, вызванные опасением, что в конце концов может «сякнуть «чистый яд», тот самый, что всегда сопутствует тинному поэтическому горению, терзанию души, без которых невозможно реальное постижение исполненной таинства субстанции.

Очарование этих стихов заключается именно в неожиданном повороте поэтической мысли. Мы явственно ощущаем дистанцию между юностью и зрелостью поэта, который, выбившись из сил от постоянной, напряженной творческой работы, остается «с усталым ястребом» в руках и с сожалением вспоминает бурные годы юности.

Симон Чиковани был человеком крайне сложного душевного строя. В миг творческого озарения предметы и явления, как мы уже отмечали, воспринимались им скорее разумом, нежели чувством. Однако увлеченный своими замыслами поэт порой проявлял излишнюю страстность и создавал весьма восторженные стихи, а о великих поэтах XIX века и узловых вопросах древней литературы писал с таким же увлечением и интересом, как о современном литературном процессе. И если появлялось новое имя, он, влекомый любовью к поэзии, живому художественному слову, проявлял отеческую заботу о молодом поэте, всячески помогал ему, давал советы, с тем чтобы не пропал, не исчез бесследно начинающий творец...

Прирожденную страсть к путешествиям поэт сохранил до конца дней своих. В 50-е годы он создает цикл «На дорогах Польши», где с присущим ему вдохновением воспел дружбу народов и мир. В Германии он побывал на могиле Гете, что нашло отражение в стихотворении «Липы Гете».

И случилось так, что его, с неутолимой жаждой вбивавшего в себя красоту мира, провидение как бы умышленно лишило зрения, словно для того, чтобы он еще больше задумался над непознанным таинством поэзии. Уже слепой он создает цикл прекрасных стихов «Гянджинский дневник». Примечательно, что в последние годы жизни он вновь обращается к трагической судьбе Николоза Бараташвили и пишет с прежним юношеским пылом и вдохновением.

Видимо, цикл стихов «Гянджинский дневник» был задуман поэтом как лирическая поэма, однако он успел опубликовать

лишь первую часть. Смерть застала его в раздумьях над горькой судьбой Бараташвили, и кто знает, сколько ненаписанных лирических шедевров унес он с собой. Он оставил нам поэтические образы Маико Орбелиани, Екатерины Чавчавадзе и татарки Гонча-Бегум... Он успел поведать нам о трагической судьбе Николоза Бараташвили, поэтически осмысленной им Стихи «Снова сожаленья», «Первое письмо к Маико Орбелиани», «На твсем кресле», «Второе письмо к Маико Орбелиани», «Волшебная серьга» написаны мягкими, выразительными красками, с изысканным вкусом.

Не знаю, есть ли в грузинской поэзии нашего века другое стихотворение о серьге Екатерины Чавчавадзе, дивным светом озарившей любовь Николоза Бараташвили.

В стихотворении с особой силой проявились глубина и новизна поэтических образов Симона Чиковани.

Симон Чиковани создал новую поэтику, выработал крайне своеобразный, самобытный поэтический почерк. Он способствовал развитию новой грузинской советской поэзии XX века, ее обогащению с точки зрения формы и поэтического мышления, интонации и настроения, внутренней и внешней структуры стиха, архитектоники и принципов построения художественного образа.



Гурам АСАТИАНИ

ПАМЯТЬ

ЛЕО КИACHEЛИ
 (1884—1963)

НА СТЫКЕ двух эпох, когда революционные сдвиги становятся составной частью повседневной жизни и заглаживают сознанием большого круга людей, время обычно выдвигает целую плеяду деятелей, наделенных ярким талантом и даром незаурядной духовной устремленности.

В такие периоды тщательно задрапированные черты бытия обнажаются и выявляются с безжалостной, ослепляющей яркостью. Человек может быть изделен зоркостью от природы, но развитию этой черты его характера способствует именно время. Очутившись на гребне бурной житейской волны, он ясно видит как пройденный, так и предстоящий путь.

К этой плеяде грузинских писателей относился Лео Киачели. Еще совсем молодым прозаиком он сумел запечатлеть и трагический облик прошлого, и ощутить с особой остротой горячее дыхание грядущей жизни.

Княжна Майя и Леван Голуа — вот два образа переходной эпохи, увиденные глазами художника.

Будущее представлялось Лео Киачели прекрасным миром обновления. Поэтому романтике прошлого он противопоставил не перспективу прозаической реальности, а столь же романтическую духовную действительность (хотя наполненную уже совсем другим содержанием, другими страстями и волнениями).

Гордая княжна уходит из жизни в бесконечность, гибнет и потомок Таризэла Голуа. Оба они становятся жертвами измены. Двоедушие всегда обладало разрушительной силой и было заклятым врагом добра и красоты.

Прекрасен Леван Голуа. Он уходит из этого мира с абсолютно чистым, ничем не омраченным сознанием. Характер Голуа как будто не очень четок, эскизен, но образ его светлым лучом остается в памяти читателя.

Леван Голуа — это раннее утро Революции. Он рожден в ту пору, когда воздух еще ничем не замутнен, когда жестокое единборство страстей еще не поглотило мечту, когда легкие крылья юношеской веры и увлеченности еще не омыты кровью.

Есть нечто подкупающее, чистое и прозрачное в этом характере.

Как лицо, определенными интересами связанное с историей литературы, я смотрю иными глазами на этот образ и считаю, что сын Таризэла Голуа является прямым наследником образцовых сынов родины, которых воспитали и напутствовали грузинские шестидесятники.

Бессмертен сын,
отдавший жизнь за отчизну!

Сколько грусти в этих ласковых словах «Колыбельной» Ильи Чавчавадзе, предчувствие какой великой исторической трагедии!

Наступит время, и окрыленный эпическим гением Руставели художник создаст эпопею, живописующую героические поколения новой Грузии.

Будет написана великая история тех лет, когда лучшие сыны Грузии несли на своих плечах эпоху. Это была революционная молодежь, вдохновленная жаждой обновления и свободы.

Бескорыстная любовь к родине и народу, постоянная готовность к самопожертвованию — вот что двигало этой молодежью. Это было самым большим достижением предшествующей эпохи, подготовленным ежедневной кропотливой работой, которая велась на протяжении полувека духовными наставниками нации.

Какая суровая бдительность, какие неустанные усилия необходимы для того, чтобы сегодняшняя молодежь берегла и разжигала в себе эту божественную искру, без которой не может быть речи о каком-либо движении вперед.

Далеко не всем известно, что Лео Киачели имел революционное прошлое. Это неведение частично объясняется тем, что он, в отличие от других, не пытался романтизировать свою биографию.

Я точно не знаю, существует ли какой-нибудь документ, полностью отображающий эту сторону жизни писателя.

Один эпизод, который я вычитал в записной книжке Левана Асатиани, заканчивается тем, что к бежавшему из заключения Лео Киачели подошел известный профессиональный террорист, они направились к железнодорожной станции Кутаиси и на второй день оказались в Поти с тем, чтобы уехать в Россию.

Все это рассказывается непринужденно, без малейшего преувеличения, с той простотой, с какой обычно достойный человек рассказывает о своих героических поступках.

В то время многие переживали такое, riskовать жизнью за народное дело считалось тогда обычным явлением, и так же обычно и просто Лео Киачели сообщает об этих фактах своей биографии. Среди этих воспоминаний есть одно, на которое я хочу обратить внимание читателя.

Приговоренные к смерти революционеры, которые скрываются в лесу, оказываются свидетелями такой сцены:

«Наступил и второй вечер, наш проводник как в воду канул, кончилось продовольствие, ужасно хотелось есть.

В лесу царил гробовая тишина, мы лежали в кустах. Дчем мимо нас прошли мальчик и девочка, лет двенадцати-тринадцати, они нас не видели. Мальчик рассказывал девочке что-то непристойное на сексуальную тему. Совершенно спокойно, без всякого стыда он называл все своими именами. И девочка так же невозмутимо слушала его. Нас это удивило, я никогда не предполагал, что в деревне от таких малолетних услышу нечто подобное, но они представить не могли, что в дремучем лесу их кто-нибудь может услышать!».

Обратите внимание, что происходит, какое удивительное несоответствие! В каком виде представляется свидетелям этой сцены то, ради чего вчера они фактически жертвовали своей жизнью.

На минуту представим себе, какой эпизод мог построить на таком контрасте, скажем, автор романа «По ком звонит колокол» или хотя бы Ремарк!

Я думаю, что Лео Киачели многое замечал вокруг себя, видел то, из чего вообще складываются сложности жизни, ее удивительные противоречия. Но он в своем творчестве отразил только определенные стороны увиденной и пережитой реальности.

Более того: можно сказать, что некоторые стороны жизни

Гурам Асатиани. Память.

он оставил для исследования потомкам, а сам в искусстве пошел по другому, сознательно выбранному пути.

Лео Киачели был художником глубоко реалистической манеры, но мир, который он нарисовал, как мне кажется, по сути своей являлся романтическим.

Я хочу обратить внимание читателя на еще одно качество этой замечательной личности.

Летом 1950 года мы шли по проселочной дороге Квишхети. Батони Лео то и дело отдыхал. Вдруг он остановился у одного крестьянского двора. Во дворе женщина доила корову, там же теленок на привязи тщетно пытался освободиться от веревки. Поодаль бегали цыплята и гусята. В глубине двора крестьянин копал землю. Батони Лео глядел на эту картину, глядел и вдруг повернулся ко мне:

— Вот настоящая жизнь! А мы что?

Я решил обратить его слова в шутку и ответил:

— Мы, батано, — «надстройка»!

— Так вот, — сказал степенно батони Лео, — однажды подует сильный ветер и всю эту нашу надстройку...

Не знаю, требуют ли комментариев эти слова.

Самое глубокое впечатление личность Киачели на меня произвела с трибуны Союза писателей Грузии. Это было в сентябре 1956 года.

Лео Киачели был единственным грузинским писателем, от которого мне лично пришлось услышать суровое обвинение, вынесенное самому себе.

Лео Киачели был из тех грузинских писателей, образы которых останутся в моей памяти как олицетворение истинного человеческого достоинства и чистоты.

В тот вечер Лео Киачели казался глубоким стариком. Он стоял на трибуне согнувшись. Может потому, что он читал написанный текст и ему приходилось наклонять голову, но на меня и это подействовало.

Многим известно, что пришлось пережить этому человеку, какой тяжелейший удар перенесла его душа, но всегда и везде он стоял выпрямившись. Он вообще любил стоять. В Квишхети, когда другие писатели играли в шахматы или, сидя вокруг стола, беседовали, он обычно стоял — тихо, спокойно, невозмутимо.

А в тот день Лео Киачели выглядел глубоким стариком. Он сказал, что ему стыдно за свои ошибки, что он никогда не простит себе их. Он говорил нагромко, медленно, но четко и ни разу не сделал попытки оправдать себя.

Между прочим, это выступление вызвало замешательство

среди тех товарищей, которые должны были дать оценку этому собранию грузинских писателей в прессе. Эти товарищи были шокированы откровенностью маститого писателя. Словом, выступление Лео Киачели прозвучало диссонансом. Поэтому оно нигде не публиковалось. Но для многих из тех, кто присутствовал на этом собрании, слово Киачели стало историческим фактом, который сохранился в духовной биографии грузинской интеллигенции нашего века.

Это был еще один важный эпизод в исполненной истинного драматизма биографии Лео Киачели. Это было еще одно излучение той внутренней правды и чистоты, которые он пронес через весь свой жизненный путь.

В каких ошибках мог себя обвинять, в чем должен был раскаиваться человек, который всю свою жизнь провел в поисках правды, который всюду вокруг себя создавал атмосферу искренности и чистоты?!

Но так именно и случается: если человек действительно во что-то верит, он живет трудной жизнью. Самые болезненные сомнения одолевают не тех, кто ни во что не верит, а именно тех, кто верит. Способность испытывать стыд — свойство утонченной психики.

ИОСИФ ГРИШАШВИЛИ

(1889—1965)

МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ видеть Иосифа Гришашвили и на улице, и на сцене, и в Союзе писателей... Я не раз бывал свидетелем его триумфа.

На трибуне он провел почти полвека, и очевидно, если не вся Грузия, то по крайней мере ее половина помнит, как раскачивалась его маленькая фигура, как трепетал этот хрупкий и прозрачный человек, как прищуривал глаза, как раскидывал слабые руки, чтоб прижать к сердцу весь зал. (Между прочим, он признавался своим близким: «Всю жизнь я провел на сцене, и все же перед каждым выступлением душа в пятки уходит...»).

Стихи свои он читал так, словно исполнял баяти¹ — протяж-

¹ Баяти — форма восточного стихосложения.

но, нараспез, местами даже со слезой, и все движения подчинял этому ритму.

Другому бы такое чтение не простили, просто не поверили бы ему. От Гришашвили же ждали именно этого.

Он был своего рода исключением, своеобразным анахронизмом как в нашей литературе, так и в жизни. Чудом уцелевший и пощажённый временем, он казался нарочно сбереженным обломком того колоритного мира, который мы разрушили своими руками.

Иосиф Гришашвили на улице — это сама по себе неповторимая и незабываемая картина. Мостовые города были для него родной почвой — стартовой площадкой его вдохновения. Почему-то я запомнил его в солнечный день с книжками и тетрадями, прижатыми к груди, очевидно, он только что вышел из архива и брел, не торопясь, глядя по сторонам, даря улыбки «по ту и по эту сторону» и принимая улыбки в ответ. Тому, кто хоть раз видел его на улице, никогда не покажется простым поэтическим украшением известное сравнение:

Лишь пройду Шайтан-базар я площадью татарской,

Я брожу, как триопет мой, над Курой-рекою...

(Перевод Н. Тихонова)

Особенно мне запомнились две встречи с ним — первая и последняя.

Я познакомился с Иосифом Гришашвили в годы войны (кажется, летом 1944 года). Группа грузинских писателей была приглашена в Коджори к пионерам. Среди них находился и я, как член семьи одного из писателей. Ехали мы на грузовой машине. Я случайно оказался рядом с Гришашвили. Когда машина поползла в гору, он заговорщически мне улыбнулся:

— Я тебе открою одну тайну, только ты меня не выдавай! Представляешь, я впервые еду в Коджори...

Действительно, поверить в это было трудно. Ведь в его стихах царило настроение, навеянное этими местами. Именно этот знаменитый коджорский ветерок «охлаждал» его страстные строки, тот самый ветерок, который еще Григолом Орбелиани был узаконен как поэтическая эмблема старого Тбилиси.

Последний раз я его видел возле известной верийской парикмахерской. Стоял по обыкновению ясный солнечный день. Из парикмахерской ему вынесли стул — только что оправившийся после болезни, он сидел и ждал своего мастера, сутулясь и щуря ослабевшие, но все еще лучистые глаза.

Я впервые видел его таким обросшим, и мне показалось, что он сильно сдал. Белая стариковская борода ему не шла. Было нечто беспомощное и безропотное в выражении его лица.

Беседа наша длилась всего несколько минут.

В конце я спросил у него: — Дядя Сосо, вы знали многих людей, многих уже потеряли, скажите, кто же был самым близким для вас и родным?

Он задумался, вернее попытался напрячь память, наконец виновато улыбнулся мне и продолжал думать вслух:

— Как тебе сказать, вот Валериана Гуния я очень любил.. Целая эпоха пронеслась, словно и не оставив следа.

Разумеется, это меня удивило. Я видел много фотографий Гришашвили, снятых в его юческие годы преимущественно в Бсржомском ущелье — групповые снимки. Он был окружен друзьями. Знал я и то, что в свое время поклонников у него было больше, чем у других, но все же по природе своей он был человеком, ушедшим в свой собственный мир. За его общительностью и легкой, ласковой манерой поведения скрывался сильный, волевой характер.

Кровным поэтическим миром Иосифа Гришашвили был старый Тбилиси.

Не случайно среди коронованных поэтов Грузии его особенно привлекал образ Вахтанга VI — первого вдохновенного певца нашей столицы.

По своему призванию и поэтической родословной Гришашвили был продолжателем той традиции, которая благодаря Григолу Орбелиани и Акакию Церетели стала органичной для грузинской словесности.

Правда, апология старого Тбилиси в одно время, и не в столь давнее, приняла у нас непривлекательный характер, но эту болезнь в нашей поэзии распространяли в основном эпигоны своими бесцветными, вымученными творениями.

Еще в 1920 году Иосиф Гришашвили одним из первых среди певцов Тбилиси отмежевался от этой лживой экзотики или, как он говорил, от «ворованных» голосов.

Примечательно и то, что в уникальной в своем роде книге И. Гришашвили «Литературная богема старого Тбилиси» достойные граждане столицы Грузии, истинные тбилисцы (речь идет о ремесленниках-карачохели в отличие от выродившихся и отор-

вавшихся от родной почвы кинто¹) говорят чистым грузинским языком.

Иосиф Гришашвили был именно тем поэтом, который более четко, чем все остальные, ощутил стремление старого города, этой состоящей из множества молекул, вскормленной разными корнями клетки, к родным истокам и содействовал становлению здорового национального самосознания этого микромира.

Все творчество поэта проникнуто ароматом Тбилиси. Даже в тех стихотворениях, где эта тема не заявлена прямо, между строк возникает его солнце, воздух, прихотливая светотень.

**Как хороша ты! Хороша! Глаза твои — моря,
А в волосах хохочет ночь, в устах сквозит заря.**

(Перевод Д. Самойлова)

Разумеется, научно обосновать эту мысль нелегко, но в представлении искушенного читателя взор поэта мог увидеть так любимую женщину только при здешнем осзещении, в здешнем сиянии солнца.

Разве не тбилиским, сугубо тбилиским и только тбилиским духом пронизана и такая картина:

**Как хорошо было бы размышлять
под ореховым деревом,
И чтобы моросил дождь...**

(Подстрочный перевод)

Здесь, очевидно, играет свою роль и городская интонация, но есть нечто невыразимое, тайно воздействующее и в живописи, фактуре предметов композиции.

Тбилиси — вечный фон его любви, и не только безмолвный свидетель, но иногда и живой участник:

**Когда ты любила меня,
Мой Харпухи² поднимался тебе навстречу,
И холодный ветер Сурп-Саркиса³
Казался тебе приятным майским ветерком...**

(Подстрочный перевод).

Автор этого грустного стихотворения в свое время внес в

¹ Кинто — мелкие торговцы в старом Тбилиси.

² Харпухи — район старого Тбилиси.

³ По народному поверью ветер, поднимающийся в день св. Саркиса.

грузинскую поэзию необычную для поэтической атмосферы тех лет радость, веселую, «озорную» интонацию.

И это опять-таки было излучением темперамента, пряславившим стихийного порыва коренного тбилисского жителя, его жизнеутверждающего, жизнелюбивого мироощущения, его кипучей, неисчерпаемой энергии.

Ясно, что такое настроение вносило определенный диссонанс в литературный быт первого десятилетия нашего века; приблизительно таким же диссонансом на фоне настроений, утверждавшихся французскими парнасцами и символистами, воспринималось в конце прошлого века творчество знаменитых парижских шансонье.

Это был простонародный эликуреизм, возникший в кругу тбилисских ремесленников, на мостовых южного города, в сердце его шумных площадей и улиц, тот освежающий чувства источник, к которому в предыдущую эпоху не раз приникал один из знатнейших аристократов тогдашней Грузии, бессмертный певец «Вина и Саломе»¹.

Иосиф Гришашвили стоит в стороне от того пути, который Илья Чавчавадзе окрестил европеизмом и на который в новое время так решительно вступили Галактион Табидзе и «голуборовцы».

Меня Европа домой к себе не приглашала...

Эти слова датированы 1920-м годом. Западная культура была, разумеется, несовместима с его истинной, врожденной «поэтической стихией», хотя в свое время он отдал щедрую дань этому новому веянию.

Ради справедливости следует признать, что при жизни у Иосифа Гришашвили, в самый разгар его почти беспрецедентной популярности, появилось много беспощадных противников.

По моему мнению, как поклонники, так и противники были по отношению к Иосифу Гришашвили излишне субъективны, потому что и те и другие искали ключ к его творчеству в этом поверхностном псевдоевропеизме.

Его «Пуговицы на перчатке», «Остаюсь Отелло без Дездемоны», «Букет гастролера», его «Арфы», «Гамачи» и «Табачные трубки» сегодня, разумеется, кажутся реквизитом упраздненного театра.

Но никогда не исчезнет то, что в Гришашвили самобытно.

¹ Имеется в виду Григол Орбелиани.

никогда не потускнеет блеск его строк, красочность его слова — «брошенного солнечной бомбой на развалины Нарикала».

Феномен Гришашвили — плоть от плоти Грузии, трепетная струна ее бессмертной лиры, чистая слезинка главной ее недели — израненной Нарикала.

Какой-то удивительно здешней вольностью и красочностью дышит его строка. Мне хочется сравнить ее полет с чем-то, не имеющим отношения к литературе; вокруг меня теснятся иные видения, иные живые образы. Как будто за Курой взметнулась в тбилисское небо веселая стая голубей, и все вокруг поплыло, засверкало, затрепетало. Или как будто вечером (в середине августа) возвращаюсь из Коджори, и вдруг вместе с раскаленным воздухом, дохнувшим мне в лицо, в глаза бросается россыпь веселых огней.

Без этих голубей, без этих веселых огоньков, наверное, не был бы столь подвижным и одухотворенным тбилисский пейзаж.

И без стихов Гришашвили многое потеряла бы живая суть нашего города.

В Грузии немало мест, годных для пьедесталов.

Памятник Гришашвили надо установить там, где по сей день обитает его дух, где сегодня он радовался бы внезапному возрождению прошлого, казалось бы, навсегда обреченного историей, — он с таким вдохновением воспел эти места:

Лишь пройду Шайтан-базар я площадью татарской,
Я брожу, как триолет мой, над Курой-рекою,
Как горячая красotka липнет с жадной лаской.
Лишь пройду Шайтан-базар я площадью татарской,
Мне о Грузии терзанье не дает покоя.

(Перевод Н. Тихонова).

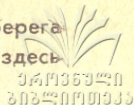
Я не знаю, каким должен быть этот памятник — обычным, символическим или таким, как он сам пожелал в юные годы («когда я умру, родная, стань мне памятником»). Но как органично впишется он в этот уникальный ансамбль! Ведь основная мысль его единственного завещания заключается именно в этом:

Мой Тбилиси, как Ираклий, вечным полн волнением,
Я хочу, чтоб его солнце гроб мой обжигало,
Иль прибит был к Ортачалам труп Курой весенней.
Мой Тбилиси, как Ираклий, вечным полн волнением.

(Перевод Н. Тихонова).

Почти все сказано, указано и место, точно указано. Даже если памятника не будет, дух его все равно пребудет там, где,

запрудив плавное ее течение, как бы нарочно сходятся берега Куры, мимо которой мы так равнодушно проходим, словно здесь нет ничего, кроме холодной речной воды.



ГЕОРГИЙ ШАТБЕРАШВИЛИ

[1910—1965]

Есть люди, при одном лишь появлении которых возникает ощущение, будто они излучают свет, и вами невольно овладевает чувство покоя и умиротворения.

Трудно понять, что происходит в их душах, какие клокочат страсти, какие бушуют бури, но взгляд, речь, сама интонация общения — все, что непосредственно воздействует на собеседника, вызывает в нем уверенность в его искренности и честности.

Это обычно свойственно личности, глубоко убежденной в правоте своего дела, чуждой даже малейшей корысти, совершенно неспособной к злему умыслу.

Встречаешься с подобным человеком, и будто с шумной, бурлящей улицы попадаешь в тихую, уютную обитель...

С Георгием Шатберашвили я познакомился в редакции «Цискари» в 1957 году, когда этот журнал только родился. Он и сейчас у меня перед глазами: в полутемной с низким потолком комнате редактора, с неизменным, зажатым между пальцами мундштуком, ровным, спокойным голосом неторопливо согласовывает с Вахтангом Челидзе какие-то редакционные вопросы. А вот он в большой комнате, выходящей на улицу, спокойно рассказывает молодым сотрудникам «Цискари» почти невероятную историю (то ли увиденную, то ли услышанную в своем деревенском детстве) о самоубийстве «волшебного» ягненка.

Помню даже слово, которое он употребил, рассказывая эту историю, — «хавили» — редкий синоним слова «хрип».

Мухран Мачавариани и я как-то сразу отметили про себя это. А рассказчик с удовольствием, как бы лаская, повторял его, будто именно оно и было главным героем его повествования... Обратив на это внимание, мы заговорщически улыбнулись друг другу.

В древности грузины рисовали свих святых с большими овечьими глазами.

На долю Георгия Шатберашвили выпало немало такого, что могло бы навеки погасить его светлый взгляд.

Он же смотрел на мир большими, незамутненными глазами. Я думаю, что он все видел, все подмечал, ничто не выпадало из поля его зрения, но он не спешил с выводами, терпеливо наблюдая за нами и, преисполненный надежды, больше думал о нашем завтрашнем дне.

Между прочим, это был первый известный грузинский писатель, всерьез признавший меня равным себе. Он подарил мне свою новую книгу «Вон на той горе» и без улыбки сказал с присущей ему степенной, несколько суровой сердечностью:

— Гурам, все свои прежние книги я дарил твоему отцу. Теперь, когда его нет в живых, я хочу преподнести эту книгу тебе. Выберешь время, просмотри ее...

Это было весьма ободряющее проявление коллегиальности. Я по сей день благодарен ему. Благодарен за ту светлую, добрую книгу, которую и поныне люблю особо; благодарен и за то, что прочел до того или позднее и обязательно перечитаю завтра. Но больше всего я обязан ему тем, что именно он, этот поразительно спокойный человек, научил меня — во всяком случае, старался научить меня и моих сверстников — истинной преданности грузинской литературе. Сам он являл наглядный пример того, как неподкупно, бескомпромиссно, безропотно, самоотверженно каждый божий день нужно служить родной литературе.

Георгий Шатберашвили не гнушался быть рядовым грузинской литературы.

Это знают все, кто жил рядом с ним — человеком, надежным редким талантом, кто чувствовал высоту его души и был покорен его рыцарской скромностью.

ГУРАМ РЧЕУЛИШВИЛИ

(1934—1960)

В ПРЕДДВЕРИИ осени Тбилиси сказочно хорошеет. К концу августа проспект Руставели вдруг оказывается полон молодых загорелых лиц. Хорошо пройтись по нему после долгого отсутствия.

Именно здесь я познакомился с Гурамом Рчеулишвили. Он только что вернулся, кажется, из Хевсурети, где путешествовал с одним известным немецким писателем и стал невольным

свидетелем происшедшей с ним страшной трагедии. Он написал об этом рассказ «Смерть в горах».

Внешне Гурам Рчеулишвили резко отличался от тщательно одетых молодых тбилисцев: распахнутая на груди сорочка, коротко остриженные волосы, твердый, пронзительный взгляд... Грубые, тяжелые ботинки словно приковывали его к земле, и в то же время во всем его существе угадывалось какое-то беспокойство, будто, толкаемый некоей подъемной силой, он изготовился к внезапному прыжку. С первой же встречи он вызывал интерес к себе, как бы настойчиво требуя внимания к своей персоне. Говорят, близкие друзья любили его особенной любовью и часто уступали необычным проявлениям его сильного характера.

Этот сильный характер чувствуется в каждом рассказе Гурама Рчеулишвили. Рассказ «Осень дядюшки Котэ», искренний, легко читающийся, как бы пронизан здоровой и всепобеждающей силой юности; автор с грустным сочувствием говорит о дорогом ему человеке, достигшем сумерек своей жизни.

Сильны по природе своей персонажи Гурама Рчеулишвили. Силой отмечен внутренний ритм его новелл, исключительна способность его писательского видения.

В первом же рассказе Гурам Рчеулишвили показывает нам свой человеческий идеал: схватившийся с безжалостной морской стихией сильный, волевой мужчина ради спасения близких жертвует собственной жизнью.

Молчаливая борьба с черной силой беспощадной стихии, противопоставление ее безрассудной непобедимости нестигаемой воле человека...

Гурам Рчеулишвили был одним из тех, кому было доступно упоение такой вот неравной борьбой, он не раздумывая мог принести себя в жертву. Но уже в возрасте двадцати шести лет он, как видно, успел испытать достаточно острые приступы трезвых раздумий. После гибели Гурама Рчеулишвили в журнале «Цискари» был опубликован один из последних его рассказов — «Алавердоба», который вдруг дал нам почувствовать, какой испепеляющий огонь сжигал душу молодого писателя.

Наше поколение не может равнодушно читать этот рассказ. Невозможно не проникнуться той юношеской страстью, которая охватывает героя на куполе Алавердского храма, и тем пронзительным чувством, которое рождает встреча с неохватным пространством. Вот заключительные строки этого рассказа: «Тот не

знает Кахети, кто, поднявшись на Цивгомборский хребет, не видел Алаверди, взметнувшийся ввысь из алазанских прибрежных роц. Тот не испытал всей остроты неукротимой кахетинской страсти, кто не взшел на вершину Алаверди и с купола его не увидел сплетающиеся друг с другом и тянущиеся до бесконечности деревни, богатые и величественные, утопающие в нескончаемых виноградниках.

Во всей этой огромной долине нет ни одного вершка земли, ни одной точки, где человек с древних времен до наших дней не создавал бы своим трудом ценности материальные и духовные.

Как звуки волнующей симфонии, вдруг обрушившиеся на вас у опушки леса, возникают перед глазами древние крепости, церкви, остатки строений, возведенные в ту же эпоху, и застроенные ровными рядами две деревни—Земо- и Квемо-Алвани. От них как негасимый свет исходит нечто новое, жизнелюбивое. Их экзотичность неведомой силой притягивает к себе стоящего на вершине купола: новая, удивительно закономерная, сплавленная с грандиозным бессловесным трудом. И думает он: откуда эта жизнеспособность, и сам же себе отвечает: она во мне, она в народе, правда, не все сумели сохранить себя и теперь не в состоянии познать истинную творческую радость, радость труда, а ведь подлинное счастье — не в наслаждении уже созданным, а в созидании.

Под ним Алаверди, храм, сотворенный грандиозной страстью другого человека, а он... Стоя на верхушке купола, он улыбается — находится здесь бессмысленно. Он смотрит вниз, и улыбка переходит в смех — там, внизу, все уже разошлось, и он совсем один на этом опасном месте. В Земо- и Квемо-Алвани стройными рядами зажигаются огни, и только труп лошади напоминает спустившемуся с купола человеку о его невольном, бессмысленном, бесцельном и бесплодном желании.

А огней становится все больше, и они с поразительной гармонией вплетаются в безмолвие Алазанской долины, по которой он не спеша бредет один в сторону деревни».

Гурам Рчеулишвили привнес в нашу литературу дыхание современности. У него глубоко было развито чувство новизны формы. Потому и освоил он так естественно своеобразную, напряженную манеру великих мастеров художественной прозы нашего времени.

Но в то же время во всех его человеческих проявлениях и писательской природе было что-то уходящее корнями в глубокое прошлое. Сычу современного города, выросшему и возмужавшему в Тбилиси, ему было тесно на извивающихся дугой ули-

цах, он не мог смириться с однообразным ритмом повседневной жизни. При первой же возможности один или вместе с другом спешил вырваться в горы, к морю. Он исходил много дорог в своих неизменных больших и тяжелых ботинках, был на хевсурских храмовых праздниках, скачках, празднике Алавердоба, общаясь с крестьянами, всегда находил среди них друзей, и соперников.

Казалось, он напряженно искал нечто, без чего его сильное, трепещущее тело могло бы истощиться и иссохнуть...

В напряженной тишине городских ночей его, верно, часто будил зов крови предков, бившейся в его жилах, и на другое утро он быстрым шагом мерил мцхетскую дорогу, с юношеской настойчивостью старался выволить из забвения безмолвные призраки Уплисцихе, в одиночку шел по следам Важа Пшавела или же вместе с бесшабашными, как он сам, ребятами-горцами пускал вскачь по скользким тропам необъезженных, перепуганных жеребцов.

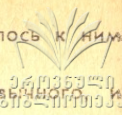
Так были написаны его «Твиртвила», «Уплисцихе», «Алавердоба».

В последние годы его волновали другие впечатления. Помню, как я и один мой друг случайно встретились с ним в Москве, в известной тогда пивной на Пушкинской площади. Мы слышали, что он приехал в Москву, чтобы продолжить учебу. Но окружавшие его коренастые ребята в шапках с вызывающей внешностью вряд ли стремились к науке.

Гурам Рчеулишвили сдержанно поздоровался с нами. Вскоре он подошел к нам, извинился, присел за наш стол. «Эти люди мне очень интересны, хочу понять их психологию, чтобы написать об их жизни», — ответил он на наш вопрос. Потом он начал пить густое темное пиво и с плохо скрываемым раздражением слушал товарищеские наставления моего друга.

Разговор почему-то перекинулся на кино. Он сразу оживился, сказал, что у него задуман сценарий по поэме Важа Пшавела «Алуда Кетелаури», рассказал, как он вообще понимает творчество этого великана грузинской литературы и что оно для него значит.

После того я долго не виделся с ним, кажется, из Москвы он отправился в Одессу. Иногда я кое-что узнавал о нем от разных людей в разной интерпретации. Да и о его рассказах существовали резко противоположные мнения — среди молодежи



я основном положительные, старшее поколение относилось к ним более сдержанно.

В нем действительно было много нового, непривычного и некоторым это казалось позой.

Многое увлекало Гурама Рчеулишвили. Совсем молодым он уже многое позидал, еще больше пережил. Все это бурлило в нем, стремясь прорваться наружу, и часто выливалось в причудливую форму. Общеизвестна консервативная недоверчивость некоторых читателей. Даже в происхождении, в биографическом мотиве они видят подражание какому-либо зарубежному писателю...

Гурам Рчеулишвили жил настолько богатой внутренней жизнью, что не нуждался в заимствованиях. Это особенно остро ощущается сегодня, когда каждая написанная им строчка стала как бы неотъемлемой частью его личности.

Он удивительно любил море... Рассказ «Ирина», который опубликован недавно, пронизан дыханием моря. Оно живет в рассказе как человек, смеется, проникает в душу. Море является фоном любви — сладкое и горькое, ревнивое, обеспокоенное историей любви двоих. Оно как женщина влечет к себе, согревает и ласкает героя рассказа. И в то же время так же, как и в «Медленном танго», здесь явно чувствуется тайное содрогание перед морской стихией, как некой враждебной, коварной силой.

В первом варианте «Ирины» были места, которые сегодня производят на нас странное впечатление — слишком походят они на предчувствия обреченного челсека.

В последний раз я видел Гурама Рчеулишвили как раз перед его отъездом к морю. В знойный день середины июля, когда асфальт на тбилисских улицах чуть ли не закипал, он появился в Доме писателей. На этот раз он был одет совершенно необычно — строгий черный костюм, серая кепка.

Писательский особняк был пуст, поэтому он там не задержался. Выйдя из дверей, он на секунду обернулся и быстрым шагом пошел по улице Мачабели.

Тогда еще я не знал, по ком надел он свой черный наряд, и приписал это очередной его странности. Я догадывался, что в Тбилиси он пробудет недолго, и ждал новой встречи с ним, когда наступит осень. Он виделся мне на проспекте Руставели, по обыкновению опаленный солнцем, в сорочке нараспашку, в больших и грубых ботинках путешественника.

И вот последние дни августа, тбилисские улицы, заполненные молодежью, беспорядочное шествие по подъему Петриашвили и черный, ужасающе красивый гроб, который здесь пронесли...

Всего каких-то четыре года, как Гурам Рчеулишвили приоткрыл дверь грузинской литературы, а нам, пришедшим в литературу приблизительно вместе с ним, он казался богатырем. Мы издали радовались росту его могучего, красивого таланта и надеялись и ждали, что скоро его бурные, нерастраченные энергия и страсть выльются в огромный писательский труд.

Сегодня все наши надежды превратились в источник жгучего сожаления. Мы вынуждены говорить холодными, как кандалы, жестокими словами об этой блистательной красивой жизни...

И все же я думаю, что он не останется под могильным камнем. Не знаю, маревом ли над раскаленной августовским солнцем землей, весенней ли упрямой зеленой травой, взошедшей меж каменных глыб, неожиданно ли пробившимся родником или сизыми облаками, приплывшими поздней порой из Хевсурети, но он вернется; он найдет способ еще раз дать нам понять, как беспомощно безрассудное торжество мрачной неизбежности перед всемогущей, всесокрушающей силой юности.



Губаз МЕГРЕЛИДЗЕ.

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ...

●
РУССКАЯ СОВЕТ-
СКАЯ ДРАМАТУРГИЯ
В ТЕАТРЕ ИМ. К. МАР-
ДЖАНИШВИЛИ.
●

РУССКАЯ советская
драматургия прочно
утвердилась в репер-
туаре театра им. К. Мар-
джанишвили. За время свое-
го существования театр по-
ставил двадцать четыре пье-
сы девятнадцати русских
драматургов, в том числе
по два произведения В. Кир-
шона, А. Афиногенова, Н.
Погодина, К. Симонова и Р.
Коростылева.

В первые годы после соз-
дания театра Котэ Марджан-
ишвили, естественно, уде-
лял особое внимание грузин-
ской оригинальной драма-
тургии, которая находилась
тогда в процессе становле-
ния и нуждалась в поддерж-
ке. И все же одна лишь
грузинская советская драма-
тургия не давала возможно-
сти театру полно отразить
тему современности. Поэто-
му К. Марджанишвили и
обратился к русской совет-
ской драматургии. Опреде-
ляя творческое направление
театра в начале сезона
1930-31 гг., он писал: «Наш
театр ставит целью удовле-
творение современных тре-
бований рабочего зрителя
как содержанием пьес, так
и их художественным во-
площением. К сожалению,
у нас пока нет таких ориги-
нальных пьес, которые
отвечали бы социальному
заказу и отражали бы ши-

роко развернувшееся социалистическое строительство в городе и деревне. Поэтому мы вынуждены обратиться к переводным пьесам, которые так или иначе отвечают задачам, поставленным перед театром»¹. В репертуаре театра 30-х годов была довольно широко представлена русская советская драматургия, что, безусловно, способствовало утверждению активной позиции театра.

Актуальным проблемам современности была посвящена пьеса В. Киршона «Рельсы гудят». Режиссер К. Марджанишвили показал широкую панораму производственной жизни паровозостроительного завода и вскрыл взаимоотношения между представителями различных социальных групп на производстве. Критика отмечала как недостаток известную калейдоскопичность действия, которая могла быть уместна в маломасштабных сценах, здесь же при изображении массовых сцен сужала рамки действия.

В спектакле значительное место занял образ Новикова в исполнении Ш. Гамбашидзе. Актер подчеркивал характерные черты героя — уверенность, понимание возложенных на него ответственных задач.

А. Кванталиани создал колоритный образ рабочего Пронина, в прошлом крестьянина.

Интересным был и образ неисправимого бездельника Ступова в исполнении С. Закариадзе.

В последующие годы театр вновь обратился к драматургии В. Киршона. Спектакль по его пьесе «Хлеб» был лучшим в репертуаре театра. Социально заостренная, проблемная пьеса освещала ожесточенную классовую борьбу в деревне. В образе Михайлова Ш. Гамбашидзе показал яркий характер большевика, человека сильного и справедливого. Интересен был и образ Ольги в исполнении В. Анджапаридзе. Газета «Коммунисти» по этому поводу писала: «Хотелось бы особо выделить В. Анджапаридзе: она интуитивно почувствовала характер Ольги. Творческая фантазия и талант помогли актрисе сделать этот несколько схематичный образ ярким и убедительным»².

Общий успех спектакля был обусловлен и запоминающимися образами Паши (Т. Чавчавадзе), Квасова (В. Годзиашвили), Романова (П. Кобахидзе), Раевского (Ш. Гомелаури).

Постановку пьесы «Хлеб» критика справедливо сочла

¹ Газ. «Коммунисти» № 277, 1930.

² Там же, № 139, 1931.

«важным шагом вперед на фронте театрального творчества»³ Сам К. Марджанишвили, определяя значение спектакля, подчеркнул: «Из старых постановок будут обновлены «Городские люди» и «Хлеб», которые имели особый успех в прошлом сезоне»⁴.

Значение упомянутых спектаклей в истории театра определялось актуальностью пьес, изображением в них событий, созвучных эпохе. В 30-е годы в нашей стране произошли колоссальные общественные сдвиги. В экономике и общественных отношениях окончательно победил социализм. Это открыло новые возможности для дальнейшего развития литературы и искусства. Заметно повысился культурный уровень жизни в нашей стране, возросла роль театра в деле коммунистического воспитания людей. В этих условиях 7 ноября 1930 года Совнарком РСФСР принял важное постановление «О совершенствовании театрального дела», которое имело большое значение для дальнейшего развития советской драматургии.

На этом этапе принципиально важной стала постановка пьесы Н. Погодина «Стальная поэма». «Можно смело сказать, — отмечалось в прессе, — что постановка этой пьесы знаменует собой коренной перелом в деятельности театра. В чем заключается перелом? В том, что театр этим спектаклем продемонстрировал принципиальное различие между социалистической и капиталистической индустрией, сумел показать новые, коммунистические формы труда и коллективное творчество...

Связь между зрителем и сценой не прерывается на протяжении всего спектакля»⁵.

В спектакле особо выделялись литейщик Степанка (В. Годзиашвили) и агитатор Анка (С. Такаишвили).

Этапное значение для развития искусства советского театра имело постановление ЦК ВКП(б) от 1932 года «О перестройке работы литературно-художественных организаций». Были распущены РАПП, Пролеткульт и намечены перспективы дальнейшего развития советского искусства. Постановление указывало, что главным в работе творческих организаций должно стать активное участие в строительстве социализма. Следовало показать образ современного советского героя — создателя и творца новой жизни.

³ «Ахалгазда комунисти» № 137, 1931.

⁴ Журнал «Хеловнеба» № 206, 1931.

⁵ Там же, № 103, 1931.

На этом этапе театр обратился к пьесе А. Афиногенова «Страх», придав спектаклю публицистическую остроту. В пьесе ставились вопросы идейно-политического перевоспитания старых ученых, их перехода на позиции социализма.

Особое внимание придавалось эволюции взглядов проф. Бородина. Герой актера Ш. Гамбашидзе искренне верил в правоту своих взглядов. Тем сложнее был путь политического прозрения профессора, искренне осознавшего ошибочность своих прежних, реакционных взглядов.

Актриса Е. Донаури создала яркий образ старой большевички Клары Спасовой. Эта волевая и сердечная женщина помогла Бородину разобраться в своих взглядах и принять правильное решение. Интересные и значительные образы создали в спектакле П. Кобахидзе (Кимбаев), Т. Чавчавадзе (Макарова), Г. Шавгулидзе (Кастальский), С. Такашвили (Амалия Карловна). Постановка была признана «лучшим спектаклем сезона»⁶.

Позже театр снова обратился к драматургии А. Афиногенова. На этот раз Д. Антадзе поставил пьесу «Далекое». Определяя достоинства пьесы и спектакля, режиссер писал: «Чем привлекла эта пьеса театр, а потом и зрителя? В основном своей гуманистической направленностью. Персонажи пьесы убедительны... В пьесе привлекает своеобразный лиризм, какая-то чеховская нота, но не меланхолическая, а наоборот — бодрая, энергичная. В «Далеком» чувствовалась вера в будущее, сознание того, что и на этом затерянном железнодорожном полустанке можно совершать великие, подлинно героические дела. Зритель полюбил этот спектакль, он был высоко оценен и прессой»⁷.

В 30-е годы в грузинском театре все больше внимания уделяется не только проблеме современного героя, но и изображению с современных позиций историко-революционного прошлого. Расширив репертуар, грузинский театр одновременно углубил свои идейно-художественные возможности. В результате театру удалось создать на сцене яркий образ вождя революции — Ленина. Режиссер Г. Таблиашвили поставил волнующий спектакль по пьесе Н. Погодина «Кремлевские куранты».

Образ Ленина создал актер П. Кобахидзе. Он не только

⁶ Газ. «Муша» № 132, 1932.

⁷ Д. Антадзе. Дни близкого прошлого. Издательство «Литература да хеловнеба», 1962, стр. 242.

сумел добиться точного портретного сходства, но и показал сложный внутренний мир вождя. Впоследствии П. Кобахидзе говорил: «Я как актер поставил перед собой задачу проникнуть в образ Ленина, показать и простоту этого великого человека, и его гениальную прозорливость». В образе вождя подчеркивалась его необыкновенная способность к дерзновенной мечте, далеко обгоняющей действительность.

Новым важным документом для театра К. Марджанишвили стало постановление ЦК ВКП(б) от 1946 года «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению». Постановление призывало деятелей искусства шире и глубже изображать советскую действительность, показать подлинный характер советского человека, который с особой силой проявился во время Великой Отечественной войны.

Театр оперативно откликнулся на призыв партии. В первом же послевоенном спектакле «Кому покоряется время», поставленном в сезон 1946-47 гг. по одноименной пьесе Л. Шейнина и братьев Тур, театру удалось создать героический образ молодого советского человека. Главный герой пьесы Андрей Мартынов идет на фронт прямо из высшего учебного заведения, оставив научную работу. Оказавшись в тылу врага, он ценой жизни совершает подвиг. В образе Андрея Мартынова П. Кобахидзе сумел подчеркнуть непреклонность характера и поразительную выдержку в час тяжелого испытания.

Значительные в художественном отношении образы создали В. Годзиашвили и С. Закаридзе. Их герои производят неизгладимое впечатление цельностью своих характеров. Особенно запоминается человечный образ часовщика Рубинштейна в исполнении В. Годзиашвили. Этот волнующий образ раскрывается в трагических коллизиях. Встреча Рубинштейна с вожаком партизан исполнена искренних человеческих переживаний и драматизма. Уничтожающая ирония сквозит в его диалоге с немцем Роге. С. Закаридзе в образе гитлеровца Роге сумел вскрыть дикую ненависть к людям, жестокость и внутреннюю опустошенность.

Театр не прекращал работать над темой Великой Отечественной войны, наоборот, он углублял ее и создавал интересные спектакли. В их числе была инсценировка романа В. Ажаева «Далеко от Москвы».

Инсценировка и постановка принадлежали режиссеру Р. Чиаурели.

В первых же интересных решенных эпизодах показана бы-

ла ожесточенная борьба новых людей против рутины и самотека, победа новых принципов над устаревшими взглядами.

Превосходно создает В. Годзиашвили образ Батманова, начальника строительства нефтепровода, руководителя, сочетающего в себе высокие человеческие качества с умением работать с людьми, заботиться о кадрах.

Молодой инженер Алексей Ковшов Я. Трипольского рвался на фронт, забыв, что работа на строительстве нефтепровода имела большое государственное значение. Но требование отпустить его на фронт встретило резкий отпор со стороны Батманова. Только после бесед с ним Ковшов убеждается, что в условиях войны и труд служит делу победы.

Грузинского инженера Беридзе, энергичного, инициативного, жизнелюбивого человека, превосходно показал А. Кобаладзе.

Театр и в последующие годы продолжал работать над героико-патриотической темой. Значительной для творческого коллектива была постановка пьесы Леонова «Нашествие», отмеченной драматическими коллизиями, построенными на внутренних контрастах. В ней показана борьба двух диаметрально противоположных мировоззрений в тяжелые дни Великой Отечественной войны и неизмеримое превосходство советских людей над фашистскими палачами.

В спектакле, осуществленном Г. Лордкипанидзе, интересный образ главного героя, врача Федора Таланова, создал О. Мегвинетухуцеси. Вначале Федор замкнут в своем тесном мирке, поглощен личными переживаниями и даже несколько эгоистичен. Но фашистский разбой, страдания людей пробуждают в нем патриотическое чувство. О. Мегвинетухуцеси убедительно показал этот переворот в характере Федора.

Спектакль выделялся полифоничностью характеров, которые были талантливо сыграны актерами Т. Сакварелидзе (Таланов), Я. Трипольским (Фаюнин), Г. Гомелаури (Кокоришкин).

Театр Марджанишвили не ограничивался только военными темами, наоборот, он активно откликался на жизненные и политические явления. В этом отношении удачными были постановки пьес К. Симонова и А. Софронова.

Опыт работы над драматургией К. Симонова у театра уже был. Еще в 1943-44 гг. здесь была поставлена его пьеса «Жди меня». На этот раз театр заинтересовался пьесой совершенно иного характера — «Русским вопросом».

В этой пьесе К. Симонова нашли глубокое отражение

весьма актуальные проблемы. Строреспублицистическая пьеса, злободневная в момент появления, не теряет своей актуальности и в наши дни.

Драматург раскрыл подлинное политическое лицо послевоенной Америки, а режиссер В. Кушиташвили создал яркий спектакль. Он заострил внимание не только на политическом содержании, но и на изображении характеров действующих лиц, на их индивидуальной драме.

Успех спектакля объяснялся и талантливым исполнением ролей актерами Ш. Гамбашидзе (Макферсон), П. Кобахидзе (Гарри Смит), В. Анджапаридзе (Джесси), Б. Закариадзе (Морфи).

Пьеса А. Софронова «Московский характер» была поставлена в последующем сезоне — в 1948-49 гг. Герои пьесы, работники завода, борются за внедрение передовой техники для досрочного выполнения планов. Спектакль режиссера Г. Сулиашвили создавал запоминающиеся образы советских людей, показывал их высокие моральные качества.

Убедителен был в роли Потапова П. Кобахидзе. Сильными и выразительными средствами передавал П. Кобахидзе борьбу противоречивых чувств в душе Потапова в последней сцене, когда он осознает свои ошибки.

Интересный ансамбль создали актеры М. Джапаридзе (Гринева), П. Сонгулашвили (Кривошеин), А. Гомелаури (Зайцев).

В последние годы на сцене театра были осуществлены постановки двух пьес: Г. Горина «Жизнь и смерть барона Мюнхаузена» и В. Коростылева «Пиросмани».

В. Коростылев создал интересную пьесу, оригинальную и по форме: она написана в форме монолога главного героя. Спектакль Г. Лордкипанидзе по пьесе Коростылева стал подлинным гимном творчеству Пиросмани. Успех спектакля, несомненно, во многом был обусловлен прекрасной игрой О. Мегвинетухуцеси. Перевоплощение актера — нашего современника в художника Пиросмани происходит на глазах у зрителя. Особо хочется отметить одну деталь. На Пиросмани в продолжение всего спектакля мы видим джинсы, но это не мешает зрителю, скорее подчеркивает, что образ гениального художника освещен с современных, сегодняшних позиций.

Постановки в театре им. К. Марджанишвили пьес русских советских драматургов, наряду с другими произведениями, расширили и обогатили репертуар театра, помогли ему полнее отразить тему современности.



В СЕМИРНО - ИСТОРИЧЕСКОЕ значение политики Коммунистической партии в национальном вопросе состоит в том, что она, объединив разные народы, не только создала могущественное государство, но и обеспечила небывалые в истории человечества возможности для всестороннего свободного обмена культурными ценностями, широкой пропаганды лучших национальных традиций, а это, в свою очередь, обусловило формирование человека нового типа, подлинного интернационалиста, который, помимо владения своей собственной национальной культурой, помимо любви к ней, проявляет все более глубокий интерес к достижениям культуры других братских народов, воспринимая их уже как нечто свое, родное.

«Быть интернационалистом, — пишет лауреат Ленинской премии Н. Думбадзе, — значит, прежде всего, независимо от того, кто ты.., любить хороших людей, не задумываясь над их национальной принадлежностью... Необходимо всегда помнить, что это очень просто и вместе с тем невероятно важно — уметь любить людей независимо от их национальной принадлежности и ненавидеть тоже. И вообще —

Игорь БОГОМОЛОВ

ДИАЛЕКТИКА СВЯЗИ

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЛИТЕРАТУР
В ФОРМИРОВАНИИ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО
МИРОВОЗЗРЕ-
НИЯ СОВЕТСКОГО
ЧЕЛОВЕКА

сначала разобраться в своем отношении к тому или иному человеку и только потом, если это потребуется, интересоваться, кто он в смысле своей национальной принадлежности»¹.

Такова гуманистическая сущность многонациональной советской литературы, играющей важную роль в укреплении интернационалистского сознания советского человека.

Разумеется, лучшие писатели и в прошлом ратовали за дружбу народов, воспитывали читателей в духе уважения национальных прав и интересов других народов. Однако только в нашу социалистическую эпоху стремление к дружбе переросло в подлинное братство.

Именно этот фактор находит одно из ярчайших и впечатляющих отражений в национальных литературах, которые, обладая сходными чертами, единством социальной концепции, вместе с тем остаются литературами национальными, опираются на опыт, традиции, особенности родной культуры, имеют глубокие корни в действительности, оказывая этим особо сильное воздействие на читателей. Ведь литература — могучее средство идеологической работы. Умелое использование огромной силы ее воздействия, как это неоднократно подчеркивалось на пленумах и съездах ЦК КПСС, — важнейшая задача нашей партии, неуко-снительно и последовательно проводящей курс воспитания трудящихся в духе советского патриотизма и социалистического интернационализма. «Пролетарская партия, — писал В. И. Ленин, — стремится... к сближению и дальнейшему слиянию наций, но этой цели она хочет достигнуть не насилем, а исключительно свободным, братским союзом рабочих и трудящихся масс всех наций»².

Деятели советской литературы руководствуются учением В. И. Ленина, его удивительной скромностью и тонким пониманием сущности искусства. А. В. Луначарский вспоминал: «Из своих эстетических симпатий и антипатий Владимир Ильич никогда не делал руководящих идей»³.

Поэтому работа лучших представителей советской литературы основана на уважительном отношении к национальному достоинству и национальной культуре каждого народа. В грузинской современной литературе, к примеру, все персонажи

¹ И. Думбадзе, «Закон человечности», «Литературная Грузия», 1982, № 10, с. 7—8.

² В. И. Ленин, Полное собр. соч., т. 31, с. 167.

³ А. В. Луначарский, Собр. соч. в восьми томах, т. 7, М., 1967, с. 401.

иной национальности являются, как правило, положительными. Более того, нередко представитель иной национальности — положительный герой вступает в конфликт с отрицательным персонажем — грузином («Я вижу солнце» Н. Думбадзе). Короче, если в том или ином произведении фигурирует русский, армянин, азербайджанец и т. д., то грузинский автор стремится наделить его типичными чертами той национальности, к которой он принадлежит, т. е. положительными чертами. Разумеется, грузинские писатели знают, что в других республиках, как и в Грузии, все еще имеются негативные явления, с которыми ведется беспощадная борьба, но они не считают необходимым акцентировать внимание грузинского читателя на отрицательных моментах, предоставляя это право представителям «своей» литературы.

Опыт решения национального вопроса современной грузинской литературой способствует более глубокому осмыслению процесса межнациональных отношений, которые опираются на совместную борьбу, на совместную работу, и особое значение в этой связи приобретает чувство локтя, чувство семьи единой, единство слова и дела.

Художественная литература внушает трудящимся массам чувство интернациональной солидарности в полном соответствии с их жизненными, национальными интересами; это искреннее чувство не имеет ничего общего с лицемерными лозунгами буржуазных идеологов о всеобщем «братстве и равенстве». В основе нашего мировоззрения лежит историческая общность людей — советский народ. Для советского писателя, как и для каждого советского человека, понятие «Родина» — широкое понятие. Оно включает в себя не только родной очаг, ту местность, где родился и вырос человек (как это было в основном до революции), а подразумевает весь Советский Союз, нашу многонациональную Родину, ибо советский патриотизм, не упраздняя чувства любви к отчему краю, неизмеримо расширяет границы понятия «родная земля». «Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза», — провозгласил В. Маяковский. «Чувство семьи единой», — сказал об этом родстве П. Тычина. «Великий разлив чувств, порывов, красок и огней» — так выразил это настроение Е. Чаренц. «Побеги одного ствола» — назвал это великое чувство П. Кириллов. «Союзом сердец» окрестил его Т. Табидзе. «Открытым для братства домом» назвал нашу Родину С. Рустам.

Такое единодушие вовсе не удивительно, ибо истинный на-

ациональный писатель не может не быть интернационалистом. Я имею в виду не только тематику, не только сферу его художественного мышления, но главным образом мироощущение, идеологическую, духовную позицию. Истинный писатель — интернационалист не по долгу, не по необходимости, а по призванию, по велению совести и разума.

И где бы ни был я, куда я ни пойду,
Морозна ли земля или жарой палима,
Везде со мной отчизна сияет на виду,
Она от вечных звезд неотделима.
Песнь братства потому мне наполняет грудь,
И в силах я вослеть красу чужого края,
Я говорю ему: «Благословенен будь!»,
Чтобы и он расцвел, как Грузия родная.

Эти слова Р. Маргиани хорошо иллюстрируют закономерности развития многонациональной советской литературы, ее генеральное направление в формировании интернационалистского мировоззрения советского человека.

В нашу эпоху, эпоху развитого социализма, взаимообогащение литератур приобрело многообразнейшие формы, и среди них такие новые, рожденные в советское время формы, как декады и недели национальных литератур, проводимые во всех республиках и в столице нашей Родины — Москве, которые помогают практически решать задачи взаимного обогащения литератур народов СССР. И это лишний раз доказали недавние Дни грузинской литературы и искусства в РСФСР и Дни литературы и искусства РСФСР в Грузии, посвященные 200-летию Георгиевского трактата — великого манифеста братства и дружбы русского и грузинского народов.

Отличительной чертой таких многочисленных праздников литературы является, с одной стороны, широкое участие в них народных масс (что придает им действенно-воспитательное значение), а с другой — их деловой настрой, что определяет их важное идейно-творческое значение. Как подчеркивает Герой Социалистического Труда, поэт-академик Г. Абашидзе, «з таких поездках и встречах мы глубже познаем действительность, сверяем свои творческие замыслы с практикой трудовых будней, находим героев своих будущих произведений, и потом уже в тиши кабинетов, за рабочими столами появляются новые очерки, стихи,

рассказы и повести, славящие труд, доблесть, самоотверженность советского народа»¹.

Так появились многочисленные произведения грузинских писателей, посвященные братским республикам. Перечислить все просто невозможно. Поэтому назову лишь некоторые циклы и книги. Это — «В Армении» Т. Табидзе, «В Миргороде» Г. Леонидзе, «Баку» В. Гаприндашвили, «Свет Севана» С. Чиковани, «Песни о Белоруссии» Р. Гветадзе, «Путешествие в Среднюю Азию» К. Чичинадзе, «Азербайджан» К. Каладзе, «Белорусские рассказы» К. Лордкипанидзе, «На земле Казахстана» И. Нонешвили, «Русское сердце» Х. Берулава, «Латвийская тетрадь» Т. Чиладзе, «Поэтический репортаж из Ташкента» Т. Джангулашвили и много, много других.

Все эти произведения имеют многоплановое значение. Но для нас в данном случае важно подчеркнуть, что они убедительно показывают грузинскому читателю то, что нерушимая дружба народов нашей многонациональной страны зародилась в совместной борьбе за свободу и счастье, закалилась в горниле великих сражений, выдержала самые суровые испытания, превратилась в могучую и неодолимую силу.

Такой подход обусловлен теми коренными изменениями, которые произошли в нашей стране в результате Великой Октябрьской социалистической революции. В суровые времена борьбы за социальное и национальное освобождение, в пламенные годы гражданской и Великой Отечественной войн, в период мирного созидательного труда грузинский народ убедился в том, что только монолитное единение со всеми народами Советского Союза является подлинной гарантией национальной суверенности и независимости его родины, ее экономического и культурного расцвета. И именно эти идеалы во весь голос воспевают грузинская национальная литература.

Народ бессмертен и велик.

Он всех побед творец.

Какое счастье, что возник

Такой союз сердец! — провозгласил крупнейший поэт современности Г. Табидзе, выражая волю своего народа.

Определяя одну из характернейших черт грузинской нацио-

¹ Г. Абашидзе, «Нерушимое единство», «Заря Востока» от 28 октября 1978 года.

нальной литературы, Д. Чарквиани пишет: «Грузинская советская литература с первых дней своего существования проникнута духом интернационализма, она служила и служит дружбе и братству наших народов. И мы, современные писатели, взращенные на ее корнях, стараемся внести посильный вклад в нашу большую литературу»¹.

Этот вклад приумножают славные представители всех национальных советских литератур, которые полны чувства братской любви к грузинскому народу. «Тема Грузии, — писал М. Луконин, — для меня безгранична. Да и не только для меня. Все русские поэты, которые хоть раз «прикоснулись» к Грузии, тотчас влюблялись в нее, становились ее верными друзьями, и это, несомненно, находило отражение в их творчестве». Но любовь к Грузии внушают своим читателям не только русские писатели. «С юности я люблю вашу удивительную, неповторимую в своей красоте страну, влюблен в людей гордых, добрых, красивых, людей, умеющих всегда глубоко и ярко проявить свои братские чувства к моей родной Украине», — писал А. Корнейчук. А вот что говорил О. Туманян: «Я, будучи поэтом, питал всегда огромную любовь ко всем народам вообще, и особенно сильно любил наш братский грузинский народ, среди которого прожил большую часть своей жизни, с которым связан очень дорогими, глубокими и прочными узами. И эта любовь, которую я питал к Грузии, была для меня неиссякаемым источником радости». Те же мысли выразил и С. Вургун: «Уважайте грузинскую землю, она вырастила многих прекрасных сынов Азербайджана и Армении... Дети этой земли умеют по-настоящему дружить. Наша жизнь, наша история связаны с ними. Берегите эту дружбу!» «Грузия — край, где выходишь из легенды, чтобы вновь попасть в нее», — восторженно восклицает А. Рошка. «Мы убедились, что расстояния не являются препятствием для настоящей братской дружбы», — говорит В. Бекман. А Э. Матузевичюс добавляет: «Я благодарен судьбе за все те мгновения и дни, которые помогли мне глубже узнать вашу страну, вашу культуру, вашу литературу, поэзию. Грузия вдохновляет на поэтический полет!» Как подчеркивал Г. Гулям, каждое достижение Грузии «узбекский народ празднует как свой праздник. Ибо кто, как не самый близкий, радуется успехам соседей, а мы, грузины и узбеки, — родные братья в великой семье народов — Советском Союзе!»

¹ Д. Чарквиани. «Слово поэта», «Вечерний Тбилиси» от 23 ноября 1972 года.

Сколько волнующих произведений посвятили этому братству Н. Тихонов и Б. Пастернак, Г. Антколовский и Н. Заболоцкий, Е. Евтушенко и А. Межиров, М. Бажан и М. Рыльский, Я. Купала и Я. Колас, Г. Гулям и Шухрат, М. Ауэзов и С. Муканов, М. Рагим и С. Рустам, А. Венцлова и А. Межелайтис, Е. Буков и П. Боцу, Ч. Айтматов и В. Лацис, А. Исаакян и Е. Чаренц, Р. Гамзатов и К. Кулиев и многие другие.

Казалось бы, вопрос этот изученный, интернациональный характер советской литературы — вещь бесспорная. Но интернационализм — это не только тема дружбы народов, это новый подход к решению проблем нашего общества, основа основ воспитания советского человека, ибо он формирует новую человеческую психологию, новые чувства, привязанности, представления. Интернационализм вырабатывает в людях коллективную веру в настоящее и будущее нашей страны, укрепляет чувство устойчивости бытия, делает человека крупнее, масштабнее.

Как показательна в этом смысле взволнованная статья Эльвиры Горюхиной «Счастливого пути в Тбилиси, а потом в Новосибирск», опубликованная в № 1 «Литературной Грузии» за 1984 год. Она свидетельствует о нерасторжимых узах, связавших народы и их культуры в единое целое, когда гордо осознается общность судеб, счастье от принадлежности к прекрасной Советской Родине.

Эльвира Горюхина приводит замечательные примеры постижения грузинской национальной культуры учащимися одной из новосибирских школ, для которых знакомство с романом Отара Чиладзе «И всякий, кто встретится со мной» послужило способом «...вхождения в культуру братской Грузии».

«Как никогда стало ясно, что подключение к общечеловеческому опыту в культуре возможно только через проникновение в специфику национального. Постичь бы эту сложнейшую диалектику связи общего и единичного. Суметь бы приоткрыть дверь в диалог культур».

Как возникает этот диалог, какими тропами читатель, принадлежащий одной культуре, входит в святая святых другой национальной культуры? Как совершается восхождение к общечеловеческому опыту?»

Собственно, статья Э. Горюхиной и является очень своеобразной и интересной попыткой ответить на этот вопрос. Комментируя сочинения учеников, для которых Грузия «...не черноморский курорт с обезличенными пляжами», а «...земля Руставели и Пи-

росмани, братьев Шенгелая и Резо Чхеидзе», Огар Чиладзе же — «представитель народа, составляющего с нами одну национальную общность — советский народ, представитель культуры открытой тебе как своя собственная», автор статьи восклицает: «Вот она вам, диалектика связи национального и общечеловеческого! Пребывание в сфере другой культуры, постижение специфики национального наикратчайшим путем ведет тебя к общему».

Интернационализм в действии — таков девиз советских писателей, чей творческий опыт основан на полном единстве двух дополняющих друг друга понятий — советского патриотизма и социалистического интернационализма. Все значительные произведения, созданные советскими писателями, отмечены знаком этого единства.

На чем же зиждется это единство? «Патриотическое чувство конкретно, — пишет Г. И. Ломидзе. — Оно охватывает круг явлений, близких опыту, эмоциональному миру, сознанию человека. В патриотизме преобладает момент национальный, связанный с определенными духовными, историческими, жизненными ценностями того или иного народа. Но социалистический патриотизм, социалистическое патриотическое чувство неким образом не противостоит интернационализму. Социалистический интернационализм соединяет в высшем единстве национальные чаяния и интересы народов, направляя их по единому социалистическому пути, наиболее перспективному, плодотворному для каждой нации»¹.

Таким образом, интернационализм для нас понятие не абстрактное. Это — сама жизнь, наша советская действительность. «Образование Союза ССР, как политического, государственного, экономического, хозяйственного, социального единства, — пишет Н. Думбадзе, — привело к весьма важному результату: оно сблизило сотни миллионов людей, живущих на огромной территории — представителей пятнадцати республик, в которых объединено множество национальностей и народностей. Такое сближение открыло новые, тоже беспрецедентные, возможности для развития национальных культур, их взаимного обогащения»².

Однако сближение советских литератур, как уже неоднократно подчеркивалось, отнюдь не означает потерю их национальных

¹ Г. И. Ломидзе. «Нравственные основы патриотизма и интернационализма в литературе», в кн.: «Литературное содружество народов СССР», Тбилиси, 1982, с. 9—10.

² Н. Думбадзе, «Закон человечности», «Литературная Грузия», 1982, № 10, с. 11.

черт и особенностей. Тот же Н. Думбадзе справедливо подчеркивает, что «в разговоре об интернационализме... нельзя забывать и о том, что он отнюдь не исключает, напротив — подчеркивает, усиливает роль в жизни человека больших, непреходящих ценностей: национального достоинства, национальной гордости, патриотизма»¹.

Итак, речь идет о соотношении национального и интернационального в духовном мире советского писателя, а шире — советского человека вообще. Коснувшись этого вопроса, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Грузии Э. А. Шеварднадзе писал: «Культура нашего народа, как и культура всех народов СССР, национальная по форме и интернациональная, социалистическая по содержанию. Однако диалектика формы и содержания национального и интернационального такова, что интернациональные начала непременно проникают и в национальную форму, а содержание не может быть интернациональным, если не отражает самые прогрессивные, самые возвышенные, революционные, классовые и национальные идеалы.

Через социалистический интернационализм реализуются самые сокровенные национальные идеалы. Поэтому интернационализм — высшая форма национальной жизни»².

Такова важнейшая форма социалистического патриотизма, основанного на коммунистическом идеале.

Гармоничное сочетание патриотизма и социалистического интернационализма тщетно пытаются отрицать буржуазные теоретики искусства. Они тщатся доказать, будто интернационалистская позиция советской литературы основана на стирании национальных черт братских духовных культур. Они закрывают глаза на многообразие советского искусства, которое достигается тесной связью каждой национальной культуры с многовековыми традициями и историей своей нации, основываясь вместе с тем на единых стремлениях советского народа, вбирая в себя все лучшие достижения культуры братских народов. Интернационализм выступает как главный критерий в оценке национальных ценностей, национальных культурных достояний.

Буржуазные идеологи не хотят понять и другого: вся история литературы, равно как и вся история человечества, в своем

¹ Н. Думбадзе, «Закон человечности», «Литературная Грузия», 1982, № 10, с. 10.

² «Литературная Грузия», 1976, № 12, с. 21.

развитии стремилась к созданию справедливого мира, к созданию равенства между народами, и по мере приближения к нашей эпохе она все больше выявляла свою гуманистическую, интернациональную сущность. Интернационализм лежит в самой природе духовной жизни человека, поэтому интернационализм советской литературы, так же как и всей нашей культуры, является не свойством, привнесенным извне, а следствием более глубокого раскрытия внутренней природы художественной культуры. Советская литература утверждает интернационализм как высшую социальную, духовную сущность человека социалистического общества.

Каждый день подтверждает огромную жизненную силу нашего социалистического строя, в котором наилучшим образом учитываются как общие государственные, так и специфические национальные особенности всех народов нашей великой Отчизны. Блестяще осуществились слова В. И. Ленина: «Мы хотим добровольного союза наций, такого союза, который не допускал бы никакого насилия одной нации над другой, такого союза, который был бы основан на полнейшем доверии, на ясном сознании, на вполне добровольном согласии»¹.

В этих словах заключается ключ к пониманию проблемы — «интернациональное и национальное в духовном мире советского человека». Русский, украинец, узбек, латыш, грузин, армянин, азербайджанец — были, есть и всегда будут представителями своей национальности, со своей самобытной неповторимой национальной культурой, своим национальным языком, бытом, обычаями, нравами, своим национальным характером. В то же время все советские народы и национальности добровольно объединились в равноправную семью, основанную на полнейшем доверии, на ясном сознании жизненной необходимости этого объединения, что, в свою очередь, породило новую историческую общность — советский народ, который построил социализм и уверенно строит коммунистическое завтра.

Новая историческая общность людей подняла на новую небывалую ступень развития интернационалистское мировоззрение, ставшее нормой жизни, жизненной необходимостью, сутью нашего бытия.

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 40, с. 43.

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУРЦИИ

Обзор

РЕЗУЛЬТАТЫ прошедших 6 ноября 1983 года в Турции парламентских выборов удивили многих. Во время референдума 7 ноября 1982 года турки одобрили большинством в 91 процент голосов новую конституцию, оказав тем самым поддержку военному руководству страны, глава которого генерал Кенан Эврен стал президентом Турецкой Республики. Однако избирательная кампания в меджлис не дала результатов, которых ожидал правящий Совет национальной безопасности (СНБ), состоящий из президента, а также генералов, командующих тремя родами войск и жандармерией.

Из трех партий, получивших разрешение выставить своих кандидатов на ноябрьских 1983 года выборах — Партии национальной демократии (ПНД) во главе с отставным генералом Тургутом Сунальпом, Партии отечества (ПО) бывшего заместителя премьер-министра в кабинете военных, известного экономиста Тургута Озала и Народной партии (НП), возглавляемой бывшим высокопоставленным чиновником государственной администрации Недждетом Джальпом, самая привилегированная ПНД — фаворитка режима пришла к финишу последней.

В однопалатном Великом Национальном собрании Турции (парламент страны) 211 депутатских мест из 400 получила ПО Тургута Озала, выражающая интересы крупного капитала, ведущих турецких промышленников и финансистов, и тем самым завоевала право на формирование однопартийного кабинета, который должен был прийти на смечу кабинету Бюленда Улусу, поставленного у власти военными.

Второй на выборах оказалась НП, получившая 117 депутатских мандатов.

Пользовавшаяся поддержкой властей ПНД, в победе которой никто не сомневался, в результате подсчета голосов избирателей была вынуждена довольствоваться весьма скромными итогами — всего 71 депутатским местом (24 процента голосов).

Абсолютное парламентское большинство, впервые принадлежащее с 1969 года одной партии, позволит Партии отечества управлять страной вплоть до 1988 года, тогда как срок полномочий президента республики истекает в 1989 году.

7 декабря 1983 года президент Турции К. Эврен поручил генеральному председателю ПО Т. Озалу сформировать новое правительство страны. В тот же день официально прекратил свою деятельность СНБ. Он был преобразован в Президентский совет — специальный консультативный орган при главе государства. Совет будет работать вместе с Эвреном в оставшиеся 6 лет его пребывания у власти на основании поправки к новой конституции. Генералы—члены СНБ, которые сформировали Совет, передали свои ответственные военные посты новым командующим.

В середине декабря официально был объявлен утвержденный президентом состав нового правительства (21 человек), в который вошли деятели, тесно связанные с промышленными и торговыми кругами. Его возглавил Т. Озал. Заместителем премьера стал К. Эрдем, а министром иностранных дел страны — В. Халефоглу, находившийся ранее на посту посла Турции в СССР. Все члены правительства, в том числе и министр обороны З. Явузтюрк, — гражданские лица.

Воспользовавшись правом реорганизации государственного аппарата, Т. Озал через сформированный им кабинет провел ряд правительственных декретов, направленных на борьбу с раздутым бюрократическим аппаратом, о слиянии семи министерств с другими министерствами и создании централизованной организации, осуществляющей общий контроль над экономикой, которая подчиняется премьер-министру. В рамках этих мер число министерств было сокращено с 20 до 14. Традиционные министерства внутренних дел, юстиции и обороны были сохранены.

Фактически наиболее действенные рычаги государственной власти в соответствии с новой конституцией остаются в руках К. Эврена, президента с широкими полномочиями. Он может налагать вето на решения кабинета министров. Он же возглавляет вновь созданный СНБ, включающий в свой состав, кроме президента, премьер-министра, нескольких министров, начальника генерального штаба вооруженных сил и командующих родами войск, к рекомендациям которого гражданское правитель-

ство должно обязательно прислушиваться в первую очередь. Президент назначает высокопоставленных должностных лиц, включая состав Верховного суда и ректоров университетов. Он может назначить референдум по внесению поправки к конституции.

Более того, в случае длительных задержек в формировании нового правительства президент вправе распустить парламент и назначить досрочные выборы.

20 декабря 1983 года премьер-министр Турции Т. Озал выступил в парламенте страны с программным заявлением своего правительства. В международном разделе программы, не претерпевшей изменений, он подтвердил приверженность Турции Западу и НАТО и высказался одновременно за дальнейшее укрепление связей с арабскими государствами.

Одновременно Турция, заявил Озал, намерена развивать стабильные отношения со своим северным соседом — Советским Союзом — в духе конструктивного сотрудничества и добрососедства, на основе уважения взаимных прав и интересов.

Коснувшись внутренних проблем, премьер-министр назвал среди главных задач правительства обуздание инфляции, достигшей к концу 1983 года 40 процентов, борьбу с безработицей, с острым жилищным кризисом, а также меры, направленные на подъем наименее развитых в социально-экономическом отношении восточных районов Турции. В программе в угоду крупному частнопредпринимательскому сектору упор был сделан на либеральный экономический курс, на всемерную поддержку свободной рыночной экономики. Партия обещала всячески поощрять частный сектор, содействовать увеличению частных капиталовложений во все отрасли, поддерживать связанную с внешним рынком торговую буржуазию.

Анализируя программу нового правительства, многие политические обозреватели обратили внимание на то обстоятельство, что в этом документе доминируют внутренние проблемы страны. Дело в том, что социально-экономические трудности, переживаемые Турцией, заметно обострились в последнее время, и пока нет никаких надежд на их эффективное преодоление. Достаточно сказать, что прошлый год Турецкая Республика завершила с рекордным внешним долгом, превысившим 23 миллиарда долларов.

Настоящим бичом для трудящихся и их семей стала инфляция, превысившая в минувшем году 40 процентов, хотя в

Нодар Комахидзе. Старые проблемы нового правительства Турции.

начале года предполагалось затормозить ее рост на уровне 20—25 процентов. В начале 1984 года по самым оптимистическим подсчетам инфляция составила 50 процентов. Угрожающе растет дороговизна жизни. В ноябре 1983 года началось повышение цен на многие товары; сначала на 14 процентов подскочили цены на бензин и другие нефтепродукты, что в свою очередь повлекло за собой весьма существенное подорожание основных продуктов питания, в том числе мясных изделий, растительного масла, макаронных изделий. Их стоимость увеличилась более чем на 60—75 процентов. Существенно подорожали и другие виды продуктов и промышленных товаров. Примерно на 30 процентов возросла плата за коммунальные услуги.

За минувшие пять лет реальная заработная плата трудящихся понизилась на 51 процент. Лавина инфляции, обрушившаяся на турецких трудящихся, писала газета «Хюрриет», особенно сильно ударила по интересам низкооплачиваемых, малообеспеченных слоев населения. По данным газеты «Джумхуриет», расходы на пропитание семьи из 4 человек в крупнейшем городе страны Стамбуле увеличились до 40 тысяч лир. В то же время средняя заработная плата турецких трудящихся составляет сейчас лишь 25 тысяч лир в месяц.

Турецкая печать, выражая мнение широких народных масс, требует положить конец бесконтрольному росту цен, который ставит сотни тысяч трудящихся на грань нищеты.

Дефицит бюджета на 1983 финансовый год, по которому общая сумма расходов составила 2,4 триллиона турецких лир (8,8 миллиарда долларов), по имеющимся данным, достигал 250 миллиардов турецких лир (925 миллионов долларов), а в 1984 году может достичь 1 триллиона турецких лир (3,7 миллиарда долларов).

Сокращается стоимость экспорта против намеченного уровня; увеличивается дефицит торгового баланса; уменьшаются переводы от турецких рабочих из-за границы, что предопределяет уже сейчас нехватку поступлений иностранной валюты почти в объеме 2 миллиардов долларов.

Т. Озал своей первоочередной задачей считает борьбу с инфляцией. Он предложил повысить процентные ставки выше уровня инфляции и таким образом стимулировать накопление; планирует снизить бюджетный дефицит и привлекать капиталовложения из-за границы. Озал пообещал, что государство больше не будет выручать частные компании, испытывающие финансовые трудности.

Проблемой номер один назвало дороговизну жизни стам-

бульское информационное агентство ТХА, которое провело опрос общественного мнения. Но, видимо, безработица не только уступает по своим угрожающим масштабам дороговизне в стране насчитывается сейчас (без учета сезонных сельскохозяйственных рабочих) почти 4 миллиона «лишних людей», что составляет 20 процентов всего самодеятельного населения. Ежемесячно в среднем 50 тысяч человек, потерявших работу, обращаются в бюро по трудоустройству. Свыше половины зарегистрированных безработных — молодежь до 25 лет.

У Турции весьма сложные взаимоотношения со многими странами Западной Европы и трения с общим рынком, к тому же она оказалась в политической изоляции в связи с отрицательной реакцией международного сообщества на успешное признание Анкарой провозглашенной в ноябре 1983 года руководством турок-киприотов независимости «Турецкой Республики Северного Кипра». Это еще более обострило и без того натянутые турецко-греческие отношения.

По признанию турецкого премьер-министра, нельзя быстро распутать клубок социально-экономических проблем, с которыми сталкивается Турция. Он считает, что хотя бы для частичной ликвидации безработицы необходимо обеспечить ежегодный 7-процентный прирост промышленного производства, который ныне составляет менее 3 процентов.

Как считают, это потребовало бы увеличения стоимости импорта по меньшей мере на 2,5 миллиарда долларов, изыскания необходимых средств для инвестиций. Одновременно, указывает Озал, Турция должна искать новые рынки сбыта продукции, в частности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в социалистических странах, в том числе в СССР. С целью повышения конкурентоспособности отечественной продукции правительство Озала разрешило импорт большинства зарубежных товаров, обложив их, однако, высокими налогами. Новые правила внешней торговли стимулируют экспортную деятельность крупных компаний с тем, чтобы сократить нынешний платежный дефицит, составляющий примерно миллиард долларов.

Но едва ли с помощью экономики можно решить острейшие внутривнутриполитические проблемы страны.

Вопреки ожиданиям турецкой общественности смена власти не повлекла за собой прекращения репрессий, которыми был отмечен весь период военного правления.

Напротив, преследования инакомыслящих, в первую оче-

Нодар Комахидзе. Старые проблемы нового правительства Турции.

редь представителей демократических сил, ужесточились. Только в январе этого года, сообщала западная печать, так называемые суды чрезвычайного положения в Восточной Турции вынесли 62 смертных приговора, главным образом активистам курдского национального движения.

В Турции, согласно официальным данным, насчитывается более 30 тысяч политзаключенных.

Недавно группа видных турецких сторонников мира была приговорена к длительным срокам тюремного заключения по стандартному обвинению в подрывной деятельности и «коммунистической пропаганде».

В конце января 1984 года по этому же обвинению группа руководителей деятелей и активистов Рабочей партии Турции (РПТ) приговорена стамбульским судом чрезвычайного положения к длительным срокам тюремного заключения — от 8 до 12 лет. РПТ, известная как последовательный борец в защиту демократических прав и свобод турецких трудящихся, была запрещена вместе с другими политическими партиями и общественными организациями страны после прихода к власти в Турции военных в сентябре 1980 года.

Судебным преследованиям подвергаются руководители синдиката писателей Турции, угроза смертной казни нависла над 68 лидерами и активистами Конфедерации революционных рабочих профсоюзов Турции (ДИСК), а свыше 5 тысяч человек за свое инакомыслие были лишены турецкого гражданства.

В марте т. г. Стамбульская военная прокуратура начала судебное расследование против одного из старейших турецких журналистов, главного редактора газеты «Джумхуриет» Надира Нади. Как сообщила газета «Хюрриет», вместе с ответственным секретарем газеты «Джумхуриет» Окаем Гюненсином Н. Нади был вызван для дачи показаний представителем командования чрезвычайного положения Стамбула.

Поводом для судебного расследования послужила на этот раз статья Н. Нади, опубликованная в газете «Джумхуриет», с критикой по адресу турецких политических партий, которые должны были участвовать в предстоящих муниципальных выборах. По словам главного редактора «Джумхуриет», в ходе предвыборной кампании эти партии, прикрываясь лозунгами об общности их устремлений служить народу и своей стране, используют любые возможности, чтобы опорочить противников.

Это далеко не первый случай, когда прогрессивные журналисты, писатели и деятели культуры Турции преследуются за критику тех или иных аспектов внутренней и внешней политики, про-

водимой правительством. Используя прошлогодний закон о печати, называемый самым реакционным за всю историю страны, местные власти и цензура резко ограничивают возможности журналистов по объективному освещению происходящих событий.

Непрекращающиеся судебнополицейские репрессии против демократических сил страны, сохранившееся в Турции чрезвычайное положение, действие которого недавно вновь было продлено, и разгул антикоммунистической истерии заметно усложняют борьбу народных масс за улучшение условий жизни и труда, за свои насущные права и свободы.

Турецкие рабочие практически лишены возможности добиться удовлетворения своих справедливых требований. Законодательством военного режима, сохраняющимся до сих пор, запрещено проведение забастовок в ключевых отраслях промышленности. Крайне обострено положение в турецкой деревне. Безземелье и нищета гонят тысячи и тысячи обнищавших крестьянских семей в города в поисках средств существования. Оседая в переполненных трущобных пригородах—геджеконду, они тщетно пытаются найти хотя бы случайный заработок.

Среди основных причин переживаемых страной трудностей и бедственного положения народа в первую очередь называют огромные военные расходы из-за участия Турции в агрессивном блоке НАТО и проведения проамериканского внешнеполитического курса.

Сегодня по вине ультрареакционных империалистических сил, стремящихся затормозить социальный прогресс, международная обстановка серьезно ухудшилась. Правящие круги США, претендуя на мировое господство, развернули безудержную гонку вооружений.

Характерно, что США рассматривают свои действия на Ближнем Востоке в целом как элемент общей политики глобальной конфронтации с Советским Союзом и другими социалистическими странами.

В Вашингтоне Турции придают особое значение. В июне 1983 года в вилайетах Карс и Эрзурум в непосредственной близости от границ Советского Союза были проведены крупномасштабные маневры мобильных сил НАТО под названием «Эдвенчер экспресс-83» с участием США, Англии, ФРГ, Италии и Бельгии.

Маневры, первые многонациональные в восточных районах Турции, названы в штаб-квартире НАТО беспрецедентными по масштабам. Присутствовавший на них главнокомандующий воору-

Нодар Комахидзе. Старые проблемы нового правительства Турции.

женными силами НАТО в Европе генерал Роджерс открыто заявил, что они имели целью продемонстрировать готовность НАТО «в случае возникновения кризисной ситуации» перебросить в восточные районы Турции мобильные силы Североатлантического блока. Иначе говоря, речь шла о подготовке в Пентагоне закавказского «театра военных действий».

В планах Пентагона и размещение в Турции американского ядерного оружия средней дальности.

В рамках политики глобальной экспансии Вашингтон намерен превратить территорию Турции в опорную базу «сил быстрого развертывания», предназначенных для вмешательства во внутренние дела других стран под фальшивым предлогом защиты «жизненно важных» интересов США.

Как сообщала газета «Крисчен сайенс монитор», США добиваются от Турции согласия на значительное увеличение американского военного присутствия в этой стране. Речь идет в первую очередь об использовании расположенных на турецкой территории военно-воздушных баз, которые могут служить опорными пунктами «сил быстрого развертывания».

В конце прошлого года Турция и США решили расширить сотрудничество в военной области. Это решение было принято на заседании совместной комиссии по делам обороны. На нем обсуждались вопросы укрепления южного фланга НАТО и модернизации турецких вооруженных сил. В рамках военной помощи Турция получит в этом году 850 миллионов долларов. Она официально уведомила США о своем согласии приобрести 160 новейших американских истребителей «F-16». Об этом объявил премьер-министр Турции Т. Озал. Оружейная сделка общей стоимостью 4 миллиарда долларов предусматривает, что часть самолетов будет собрана в Турции. Затем было подписано соглашение между США и Турцией о производстве (точнее сборке) в Турции военных вертолетов, которое начнется не позднее марта 1985 года (один вертолет в месяц — стоимостью 1,8 миллиона долларов). Поставки же первой партии — 10 американских вертолетов начинаются уже в мае 1984 года.

Турция подписала с США также соглашение об использовании военно-воздушной базы Инджирлик, расположенной на юге страны, для переброски подразделений и снаряжения американских войск в Ливан.

Турецкая общественность расценила этот факт как стремление администрации Рейгана втянуть страну в свою авантюристическую антиарабскую политику на Ближнем Востоке, противоречащую национальным интересам Турции.

УДК 62-50
1959-40
101033

Официальный представитель турецкого министерства иностранных дел, сообщивший о подписании турецко-американского соглашения, делал упор на его якобы «ограниченном характере», соглашаясь с такой оценкой, стамбульский еженедельник «Нокта» напомнил о печальном опыте прошлого, когда Пентагон даже без уведомления генерального штаба Турции в 1958 году перебросил через Инджирлик, а также через турецкий средиземноморский порт Искендерун 3 тысяч своих солдат и офицеров для осуществления военного вмешательства в Ливане.

В феврале 1984 года Пентагон поставил в известность Конгресс США о намерении поставить Турции 15 истребителей «F-4E Фантом» на общую сумму 70 миллионов долларов. Эти поставки призваны способствовать модернизации турецких ВВС, а также «достижению внешнеполитических целей» США, говорилось в заявлении военного ведомства.

Компартия Турции решительно осудила новые военные соглашения Турции с США. В опубликованном в газете «Харавги» заявлении КПТ подчеркивалось, что вооружение Турции направлено на повышение ударной силы НАТО для защиты американских интересов на Ближнем Востоке. Это соглашение служит американскому империализму, который стремится превратить Ближний Восток в район политической и военной конфронтации, использовать Турцию в качестве своего военного плацдарма.

КПТ осудила также планы США создать в Турции новые военные базы, разместить там дополнительное количество шпионских самолетов и втянуть страну в американские авантюры против народов этого региона. Как говорится в документе, Вашингтон получил возможность использовать базу Инджирлик в агрессивных целях.

Прогрессивная общественность Турции призывает руководящие круги своей страны дорожить добрососедскими связями с СССР, развивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество.

Советский Союз неизменно придерживается курса на укрепление добрососедских отношений с Турецкой Республикой и развитие взаимовыгодных контактов в различных областях на благо наших народов и всего мира.

Это долгосрочный, не подверженный каким-либо конъюнктурным соображениям курс СССР.



- ДОКУМЕНТЫ
- ПИСЬМА
- ВОСПОМИНАНИЯ



Нина ТАБИДЗЕ

РАДУГА

ТИЦИАН ТАБИДЗЕ И ЕГО ДРУЗЬЯ

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ТИЦИАНА ТАБИДЗЕ
С ВИКТОРОМ ГОЛЬЦЕВЫМ

С В. В. Гольцевым Тициана связывала не только дружба, но и деловые отношения. Они вместе работали над созданием антологии грузинской поэзии (на русском языке). Гольцев был редактором «Избранного» Т. Табидзе — книги, вышедшей в 1936 году в Москве.

Виктор Викторович Гольцев был большим другом грузинских писателей. Как редактор и критик он много сделал для пропаганды грузинской литературы среди русских читателей. Это был обаятельный человек, умный и приятный собеседник, прекрасно знавший не только жизнь современной Грузии, но и ее историю, национальные традиции, обычаи старины. Он много путешествовал по Грузии, написал книгу — очерк о поездке в Сванетию...

«Дорогой Виктор Викторович!

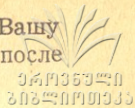
Привет из Средней Азии и из гробницы Тамерлана. Скоро буду из Тифлиса писать деловые письма. Вся надежда на Вас — включительно до очерка «Орпири». Привет Юлии Сергеевне. Ждем в Грузии.

Ув. Вас Тициан Табидзе.

(19 апреля 1934 г.)»

Продолжение. Начало см. в № 5.

«...Только что приехал из Средней Азии и застал Вашу открытку. Я успел уже ознакомиться с обстановкой после трехмесячного отсутствия.



...Обстановка в Оргкомитете весьма дружная.

Сегодня в Институте языка и литературы договорился с Л. С. Агнияшвили и А. Чкония и уже реально приступаем к работе — над подстрочниками. Валериан получил письмо от Вас и Левина, он будет у нас работать в основном. Я не читал ни этого, ни другого письма к Л. С. Агнияшвили, так что пока не знаю, как у Вас обстоят дела...

Вообще в Тифлисе я еще не освоился, не всех еще видел — погода стоит очаровательная — завтра выходит моя книга стихов.

Очень Вам благодарен за «Орпири» — был бы рад получить обратно выправленный текст, хотел послать в «Литературную газету» Болотникову перед очерковым совещанием. Если у Вас остался экземпляр, очень прошу занести в редакцию.

Скоро напишу обо всем более подробно, пришлю подстрочники моих стихов для книги в «Советской литературе» — и надеюсь, у нас завяжется деловая переписка об «Антологии».

Но думаю, мы скоро встретимся в Тифлисе — если Вам удастся приехать.

Обнимаю. Искренне Вас любящий

Тициан Табидзе.

(7 мая 1934 г.)»

«Ваше письмо получили в Тифлисе, когда я был в Кахетии, ответ запоздал, боюсь, что Вас не застанет в Москве.

Но я предпочитаю поговорить обо всем в Тифлисе, где мы Вас ждем как можно скорее, пока еще погода не испортилась.

Лучше приехать через Баку, в Казбек мы попадем из Тифлиса, это много раз лучше.

Нельзя ждать, чтобы у меня было хорошее настроение, — немного перебои сердца, но в семье я хорошо чувствую себя и буду очень, очень рад видеть вас в Тифлисе и, по обыкновению, подняться для деловой работы.

Борису Леонидовичу ничего не писал, даже не знаю, где он сейчас, а хотелось очень много ему написать.

Николай Семенович сидит в Цинандалях с женой, очень много работает и хорошо отдыхает. Были там Леоновы и

Ясенские, в Тифлисе сейчас Дмитрий Петрович Мирский, завтра едет в Цхалтубо.

...Успех грузинской поэзии в Москве нами приписывается Вашей и Бориса Леонидовича работе и вниманию.

Т. Т.

(16 октября 1934 г.)»

«Только что вернулся с Черноморского побережья — побывал всюду и около месяца жил в Махинджаурах в Доме отдыха Наркомзема СССР. Замечательный дом, очень жалел, что Вас тут не было. В общем декабрь и половину января я провел как бы без зимы, была замечательная погода, ходил без пальто.

В Тифлисе застал Ваше письмо, как всегда для меня радостное. За время отдыха я много передумал, перестрадал, в общем готов на большую работу. Я весь полон спокойствия и уверенности, хочется себя испытать на работе, постепенно хочу накопить стихи для новой книги и приступить к «суровой прозе», в общем готов начать новую жизнь, хотя сердце дает о себе знать и иногда бывают астматические припадки.

Замечательно, что устраивается такой большой вечер грузинской поэзии в Москве, мне передавали программу, а также московскую телеграмму, — очень, очень Вам благодарен за память и дружбу, я так вообще мало помню внимания, что Ваше внимание я ценю. Очень тронули письма Бориса Леонидовича, которые я тут застал, — даже боюсь ему ответить, настолько они меня тронули и обрадовали, но Вы знаете, как я его люблю, больше уж не выскажешь, жду с трепетом встречи с Вами в Москве... Увидимся, обо всем поговорим. У меня ужасное горе — гибель близкого друга Бесо».

«Только два дня, как встал с постели, по приезде из Москвы схватил грипп, было осложнение с сердцем, пришлось перенести такие приступы астмы, что я почти ревел от страха и от боли.

Ваше письмо и телеграмму я чувствовал, как укор, и волновался...

Как будто все интересуются «Антологией», даже чересчур заняты и озабочены ведомственно, но толку мало было, до сих пор по крайней мере. Акакий Татаришвили обещал крепко взяться за дело. Вы сами будете свидетелем этой работы. Скоро половина апреля, и, я думаю, Вы к концу должны быть в Тифлисе; я успел всем рассказать о Вашем приезде, все

очень рады и ждут. Акакий Татаришвили мне говорил, что получил от Вас письмо, не знаю, что там было написано, кроме укора насчет подстрочников. В общем я жду от Вас подробного письма... Ваша телеграмма тут хорошо была оценена, о награжденных. Вообще о Вашей работе все замечательно отзываются, нужно будет только довести дело до конца. Ваш привет я передал Марии Левановне и Петру Семеновичу, они почти каждый день навещали меня во время болезни; в общем, если не считать потерянного времени, у меня за время болезни перебивал весь Тифлис.

Я думаю, Вы поймете, как мне хочется опять быть в курсе московских дел, напишите, или скоро приедете? Я к тому времени совсем поправлюсь, и работа опять закипит — хочу верить; я стосковался по работе, по Вас, по Москве.

Тициан Табидзе.

(12 апреля 1935 г.)»

«Получил Ваше письмо со сдержанными упреками: знаю, что я заслуживаю их, но, к сожалению, еще больше они относятся к моим шефам. Правда, я серьезно болел, раньше всего это отражается на работе, я стал мнителен и, кажется, не без основания. Лечиться я продолжаю пока в Тифлисе, не могу выехать на побережье, мои запутанные дела задерживают.

Я стараюсь окончательно распутаться, скоро будет открытие Казбекского музея (15 июня), но с «Антологией» — хуже...

У нас сейчас замечательно — погода очаровательная, я даже забываю о своей болезни. Если решите приехать, прошу написать заранее, или телеграфируйте, чтобы хорошо встретить...

(3 мая 1935 г.)»

«...На этот раз совершенно точно я пришлю подстрочники. Очень помог Борис Брик, он был в Тифлисе и выехал в наш дом в Квишхетах, и продвигается также дело «Антологии».

Получили № 3 «Звезды» с Вашим письмом о Серго Клдишвили, ему на самом деле повезло в нашей дружбе, и он этого достоин, читал я ему отрывки из Вашего последнего письма.

Виктор Викторович, дорогой, как обстоит дело с книгой переводов Бориса Пастернака в «Советском писателе»? Я на-

писал Зуеву, вообще хорошо было бы включить его в бригаду. Его тут все любят...

(22 мая 1935 г.)»



«...Виктор, дорогой, Вас тут очень ждут, возьмите с собой оттиски поэм Важа Пшавела, что издаются в Гослитиздате, или переводы Спасского; непременно позвоните Левину и Зуеву насчет переводов Бориса Пастернака, прошу также позвонить Ефиму Давыдовичу Зозуле, что они намерены делать с моим «Рион-Портом» в Библиотеке Огонька. Дела «Антологии» начали поправляться. Материалы перешлем после Вашего приезда...

(4 июня 1935 г.)»

«...Вчера ночью получил Вашу телеграмму. Сейчас же ответил... Боюсь, правда, что письма запоздали и наши друзья поэты и скитальцы уже разъехались или, что хуже, разболелись. Очень меня опечалила весть о болезни Бориса Леонидовича, я от него скрывал свою болезнь.

(8 июня 1935 г.)»

«...Дела «Антологии» я веду блестяще, могу даже Вас поразить...

У меня настроение великолепное и как никогда работа.

(9 июня 1935 г.)»

«Простите, что до сих пор не написал, но у меня опять повторились астматические припадки, и все время настроение было ужасное, да и писать хорошего было нечего. Очень меня обрадовало Ваше письмо и добрая память Бориса Леонидовича и Зинаиды Николаевны.

Хотел два раза говорить по телефону, но неудачно, может быть, до получения этого письма я еще успею поговорить по телефону... После Вас тут была украинская делегация, пришлось вместе с Татаришвили опять поехать в Казбек и несколько дней там остаться. Потом перевозили прах Важа Пшавела из Дидубе на Мтацминда, опять было много хлопот, но эта ночь была незабвенна, сколько было переживаний при открытой могиле. Может быть, нам удастся устроить вечер Важа Пшавела в Москве, по приезде поговорим, тут сейчас гостит Бенедикт Лившиц, но я по болезни с ним редко встречаюсь.

Теперь об «Антологии». В институте Руставели Дудучава назначил комиссию по обследованию работы по «Анто-

логии», комиссия составила акт, я привезу в Москву — документ этот вполне учел мою работу и в общем и целом в пользу меня, кроме того, внес ясность в это запутанное дело. (26 октября 1935 г.)»

«Только что получил Ваше письмо и спешу ответить.

...Акакий Самсонович говорил мне, что даст интервью газетам о работе вашей бригады и книге Б. Пастернака, завтра я пойду и сам лично возьму эту беседу.

Сам я тоже напишу Вам, если не сегодня, то завтра — о работе Бориса и его книге...

Автобиография немного задерживается, но на днях непременно вышло. Очень, очень рад, что Вы взялись написать статью в «Красной нови» о борисовских переводах, лучше Вас никто не знает это дело. Вы, как говорится, «у колыбели».

Вышла или нет книга Важа Пшавела? Если что-нибудь написано и напечатано о «грузинских лириках» в газетах, которые не доходят до Тифлиса, очень прошу выслать. Совестно так Вас беспокоить, но когда я пишу письмо, пишу только Вам — и хочется от Вас иметь вести.

(26 ноября 1935 г.)»

Письма В. В. Гольцева:

«Дорогой Тициан!

Шлю Вам привет из Хевсуретии, где много интересного. Был в Чаргали. Подъезжая к дому Важа Пшавела, я волновался. Нас встретили Вахтанг и вдова Важа, провели в убогое жилище великого поэта. Теперь его образ стал для меня еще ближе, еще привлекательнее. Завтра собираюсь ехать верхом в Гуро, в Шатили и другие интересные селения».

«Мне было очень приятно услышать Ваш голос и голос Нины Александровны, доносящийся из столь мною любимого Тифлиса. Тотчас же я позвонил Борису Леонидовичу, и мы снова говорили о Вас, о грузинской поэзии, о нашей работе и дружбе.

А вчера Павел Антокольский, не успев очухаться от путешествия из г. Горького, зашел ко мне и читал перевод Вашей «Родины». Мне и Юле он представляется очень удачно сделанным...

Как я Вам уже сообщил по телефону, Сергей Спасский заканчивает работу над Вашим «Амундсеном» и несколькими

лирическими стихотворениями. Думаю, что и он нас с Вами не подведет.

Но, дорогой Тициан, поскорее присылайте даты и автобиографию, если хотите ее поместить в книге. Думаю, что автобиография нужна, будет интересна русским читателям. Я хотел бы, чтобы в Грузии к празднованию ее пятнадцатилетия Ваша книга уже красовалась в готовом виде. Для этого ее надо сдать в производство в середине декабря полностью.

(12 ноября 1935 г.)»

«Дорогой Тициан!

Вы знаете, как я Вас люблю и ценю. Дома я ругал Вас за промедление, но в издательстве, конечно, хлопотал о Ваших делах. Пришлось упрашивать производственный сектор, потом согласовывать с Лупполом вопрос о дополнительном включении в книгу Вашей автобиографии, предварительно обработав ее. В результате я получил разрешение поместить Вашу автобиографию в конце книги в виде приложения (чтобы не переверстывать книгу, уже подписанную к печати), сократив ее, исключив цитаты и лишние детали. Сейчас предстоит проводить ее через редактуру. Все это было бы неизмеримо легче сделать в январе. Тираж пока остается прежний — 5 тысяч, но я буду разговаривать на этот счет...»

«Дорогой друг Тициан!

Спасибо Вам за новогодние поздравления, за хорошие, дружеские слова, произнесенные по телефону. Я не сомневаюсь, что наша дружба навсегда, т. е. пока мы дышим, останется крепкой и ненарушимой.

Как я уже сообщил Вам, А. А. Фадеев к идее устройства Вашего творческого вечера отнесся вполне одобрительно...

Следовательно, будем сговариваться об устройстве Вашего вечера во второй половине февраля. На днях снова поговорю с Фадеевым, которого я очень люблю и уважаю... Пока что прошу Вас начать подборку материалов. Мне для доклада нужны «голуборожские» ранние манифесты, всякие Ваши высказывания об искусстве, статьи о Вас (в том числе и самые плохие)...

(Январь 1937 г.)»



Я вспоминаю 1935 год, когда Антокольский впервые ехал в Грузию вместе со своей женой Зоей. Супруга Антокольского была актрисой Вахтанговского театра, необыкновенно нежная, спокойная, с большими, как у серны, глазами. И сам он — небольшого роста, очень живой, восторженный и словно всегда влюбленный, с чистыми, прозрачными глазами, смотревшими прямо в душу.

Тициан их встречал, получив телеграмму от Виктора Гольцева о том, что Антокольский с женой приезжают в Тифлис. Они встретились, как близкие знакомые. В тот же вечер Антокольский с женой были у нас в гостях. Об этом вспоминает и сам Антокольский:

«...В первый же тбилисский вечер за круглым столом в доме Тициана на улице Грибоедова мы, москвичи, учились высоким традициям грузинской застольной беседы, и это было немалое дело. Соревнование в красноречии, в дружелюбном внимании друг к другу, возвышенные и находчивые тосты, строгая их последовательность — все это было своего рода платоновской академией для нас: тут и философия истории родной страны, и поэзия как высокая настроенность души, и просто непритязательное острословие — все было уместно, все служило праздничному общению людей, только что бывших совсем чужими, но искренне стремящихся сблизиться и нашедших для сближения такой простой и благородный способ.

В тот вечер Тициан был в ударе. Он произносил патетические тосты, легко и уверенно менял направление разговора, руководил им, как тактичный тамада, вспоминал стихи старых русских поэтов. Все это грузинское гостеприимство было направлено на то, чтобы дать почувствовать, в какую великолепную среду мы попали, показать нам дарования товарищей, их своеобразие, их широкий кругозор.

Он был очень хорош собой. Несколько полный и грузный, в затрапезной парусиновой блузе, с ярким цветком в петлице, не то гвоздикой, не то осенней астрой, с челкой римского патриция, с правильным, мягким лицом скорее славянского, нежели грузинского типа, с чуть хриплым голосом и могучей грудной клеткой — такую яркую фигуру не часто встретишь на белом свете. Его хотелось писать маслом на холсте, крупно вылепить из глины — увековечить по возможности эти выразительные черты.

При дальнейших встречах он невольно оказывался в положении какого-то «мэра города Тбилиси» — так содержательны и выпуклы были его комментарии и к башне Давида, и к горе святого Давида с гробницей Грибоедова, и к картинам гениального самоучки Нико Пиросманишвили, и ко многому еще, им же самим найденному, облюбованному, распропагандированному. Рассказанное им могло бы стать стихами, поэмой, но он был щедр и пачками швырял эти нераспечатанные в творчестве воспоминания и образы, радуясь тому, что может поделиться с новыми людьми своим патриотическим богатством.

И вот наступил еще один вечер, и мы сели с Тицианом в допотопный потрепанный «газик» и двинулись по Военно-Грузинской дороге. Тициан декламировал хриплым, с надсадой и переливами, гортанным голосом. Он почти кричал в ночную мглу:

На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною...

И действительно, синяя бархатная мгла окружала нас, а где-то внизу плескалась Арагви. Чтение Тициана было своеобразным и сильным. Русский ямб, тоника нашего стихосложения совершенно пропадали в его интерпретации, все это непомерно вытягивалось в его долгих и кратких слогах. Он читал Лермонтова, Блока, Тютчева и с какой-то особой задушевностью, как свой личный лейтмотив, повторял тютчевскую строфу:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,—
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.

Шофер наш, смельчак Жора, вел машину лихо, не считаясь с подъемами, спусками, крутыми поворотами, маревом молочного тумана над Гудаури. Из-под фар машин выныривали зайцы и дикие кошки, а то и рыси, и неистово мчались впереди нас, загипнотизированные светом. Часа в четыре ночи мы остановились на станции Казбек, против гостиницы — длинного и некрасивого двухэтажного строения,дохнувшего девятнадцатым веком, перекладными лошадьми, дормезами и дилижансами. На застекленной террасе гостиницы был свет. Две или три керосиновые «молнии» освещали лица сидящих за столом. Это были летчики и альпинисты. Недавно в горах разбился наш почтовый самолет, несколько дней продолжа-

лись поиски разбитой машины и погибшего экипажа. Как раз накануне найдены были тела погибших, и вот летчики и альпинисты справляли поминки по товарищам. Они братски делили с нами свою печальную трапезу.

Много лет прошло с той поры. И такая встреча за ночным столом не однажды повторялась в нашей жизни, уже в суровой обстановке войны, на аэродромах дальнего действия, в метельные ночи сорок первого — сорок второго года. И теперь мне кажется, что тогда, в тридцать пятом году, сквозь стекла террасы на Казбеке в наши бессонные глаза смотрели ждавшие нас беды и утраты...»

Прекрасная память о прошлом — письма П. Антокольского.

«Дорогой Тициан!

Мне очень захотелось написать Вам, хотя никаких ближайших поводов к письму нет. Как Ваше самочувствие и работа? Когда думаете быть в Москве?..

Несколько дней назад я видел в Гослитиздате гранки Вашей книги. К сожалению, только мельком, — но у меня екнуло сердце от самого нежного чувства к Вам и от предчувствия того дня, когда эта книга уже будет лежать на столе, пойдет по рукам наших общих и не общих друзей, словом, начнет свое существование независимо от Вас.

Мы тут очень замотались со всякими дискуссиями, в которых, к сожалению, атмосфера пленума отсутствует. Надо все-таки сознаться, что пленум был очень приятен и выразителен...

Когда до Вас дойдет № 3 «Литсовременника», посмотрите там «Скифскую элегию» и «Тифлисскую ночь»...

Крепко обнимаю Вас и сердечно приветствую Нину Александровну и капитана дальнего плавания.

Ваш навсегда

П. Антокольский.

(Москва, 1 апреля 1935 г.)»

«Дорогой, любимый наш друг Тициан Юстинович!

Низко кланяемся Вам оба и благодарим за чудесное письмо. С того дня, когда, не попрощавшись, мы как проклятые сорвались из Тифлиса и очутились в вагоне, — мы не переставая вспоминаем Вас как лучшего и самого близкого за все дни пребывания в Грузии человека. И, серьезно, нам

очень больно и горько, что из-за роковых обстоятельств наша дружба оказалась внешне разорванной.

Здесь понемногу наклеивается сезонная, обычная, мало праздничная жизнь. Будем тянуть эту ляжку и с благодарностью вспоминать все горячее и сердечное, что мы видели в Вашей стране и от Вас лично. А Вы сами знаете, что этого было очень много.

Как будто Вам скоро надо быть в Москве? Краем уха я слышал, что в октябре? Предстоит Пленум союза по вопросам национальных литератур. Вот было б хорошо и как раз вовремя! Очень ждем Вас.

Бориса Леонидовича еще не удалось явить. Слышал, что он все еще худо себя чувствует. А вот Тихонов скоро должен быть в Тифлисе.

Ну вот, дорогой Тициан, — теперь как будто все. Вслед за письмом шлю Вам свои переводы и стихотворение о Пироманишвили. Надеюсь, что очень скоро приступлю к переводу Вашего большого стихотворения о Грузии. Но помните, что у меня еще нет транскрипции грузинского текста. Еще просьба! Насчет транскрипции и подстрочника Бараташвили, чего у меня в конечном счете не оказалось в чемодане: либо вытащил Виктор, либо я сам виноват.

Может быть, Вы будете так добры, напомните т. Шаншишвили о его обещании прислать сюда для театра Вахтангова перевод его пьесы об Арсене — хотя бы приблизительный.

Напишите, что Вам нужно от Москвы, я с радостью буду Вашим поставщиком и контрагентом, начиная от букинистов и кончая... хотя бы недрами Гослитиздата, где, может быть, кого-нибудь надо взять за бока, поторопить и т. п.

Крепко Вас обнимаю. Низко кланяюсь Нине Александровне и Вашей дочке (хотя не знаю ее).

Зоя энергично присоединяется к моим приветам.

Ваш Павел Антокольский.

(Москва, 5 сентября 1935 г.)»

«Дорогой, любимый друг Тициан!

Мне внезапно захотелось аукнуться с Вами. Как Вам живется? Недавно я пробыл около месяца в Баку и, живя там, часто старался представить себе физическую близость свою от Тбилиси, но она не укладывалась в голову.

В Баку я перевел Ваше прекрасное стихотворение «Да-

гестанская весна» и послал его, как было условлено, в «Правду»...

Живем мы здесь, как полагается к концу сезона, то есть безумно устав и кося обоими глазами на отдых, подмосковную речку, тишину и проч. 15-го это и произойдет. Пробую иногда писать стихи. Это называется «тряхнуть стариной», так как новые, в настоящем смысле слова, не получаются. Но ничего! Они еще будут...

Здесь недавно был Тихонов, и вот этот человек, единственный, живой, горячий, молодой — достоин всех похвал, какие только есть в моем словаре.

Ну, Тициан, дорогой, простите за бессвязность и необязательность этого письма. Крепко Вас обнимаю

Ваш Павел.

(Москва, 4 июня 1937 г.)»

II. ЗАБОЛОЦКИЙ

Как-то вечером Тициан привел к нам молодого человека в очках, с по-детски надутыми губами. Он улыбался едва заметно, а смеялся очень глубоко, — такой аккуратный, чистенький весь, — и душа его была видна во время смеха — тоже кристальная, чистая: только в глазах замечалась какая-то грусть. Это был Николай Заболоцкий, ленинградский очень хороший поэт.

Тициан предложил ему переводить грузин. Заболоцкий этому очень обрадовался, с той поры он стал верным другом грузинской поэзии.

Так началась наша дружба с Колей Заболоцким. Он дружил и с Симоном Чиковани, с которым был ровесник, и с Георгием Леонидзе. Очень любил, когда жена Георгия Леонидзе угощала его помидорным супом с цельными картофелинами. Он явно тосковал по русской кухне. Много раз собирались у нас: читали стихи, спорили о новых проблемах. Часто эти вечера заканчивались импровизированными концертами. Паоло бывал инициатором старинных хоровых песен: все, взяв друг друга за руки, пели и ходили вокруг стола. Особенно любил Паоло песню «Я и моя бурка». Ему подпевали Шалва Апхаидзе и Серго Клдиашвили. После песен Серго Клдиашвили и Леван Асатиани танцевали «Церули». Коля всегда очень смеялся, он искренне веселился. Конечно, и Георгий Леонидзе и Симон Чиковани бывали тут же. И Леонидзе иногда проявлял темперамент танцора, но чаще он выходил на балкон и стоял там,

глубоко задумавшись. Вместе с Симоном Чиковани приходил и его ближайший друг Микола Бажан, который начал в ту пору переводить Шота Руставели.

Заболоцкий был очень увлечен работой по переводу грузинских поэтов; вернувшись в Ленинград, он писал Тициану о своих обширных творческих планах.

«1 июля 1936 г.

Ленинград

Дорогой Тициан Иустинович!

Последние дни мы очень ждали Вас в Ленинграде. Ваша открытка, где Вы сообщаете об отъезде в Грузию, очень меня огорчила. Я надеялся переговорить с Вами о многих делах. Теперь наш разговор, очевидно, оттянется до осени.

В кратких чертах дело сводится к следующему. Ленинградский Детиздат поручает мне сокращенный перевод и обработку для детей Руставели. Инициатива этого дела исходит от меня. Кажется, это нужное дело. Во всяком случае, современный русский массовый читатель и особенно школьник переводом Бальмонта пользоваться не смогут. Обработка, которую я затеваю, послужила бы делу популяризации Руставели в широких массах современного русского читателя. Я понимаю, что это трудное и ответственное дело, тем более, что его нужно выполнить в течение одного года, до 1 сентября 1937 г., с тем чтобы в самом конце юбилейного года книжка уже вышла из печати. Наш друг Микола Бажан, у которого я провел недавно недели две, завещает мне свой подстрочник (Иорданишвили) с транскрипцией. В сентябре месяце я намерен приехать в Тифлис. Я должен буду связаться с институтом Руставели и с людьми, подготовляющими его юбилей. Необходимо подышать воздухом Грузии и почувствовать Руставели на его родине. Тем более, что русская литература не дает даже элементарных сведений об этом великом поэте. Моя обработка по своему объему не будет превышать одной трети подлинника. Тем более будет трудно, в этом сжатом виде, передать дух и поэтические особенности оригинала.

Если в сентябре месяце Вы, Тициан Иустинович, будете в Тифлисе, я буду просить Вас свести меня с нужными людьми и помочь мне в этом деле. К редактированию обработки мы думаем привлечь Н. С. Тихонова, хотя я с ним еще не говорил об этом.

Ради бога, сообщите мне, что Вы обо всем этом думаете,

будете ли в сентябре в Тифлисе и можно ли мне будет рассчитывать на помощь со стороны института Руставели.

До самого последнего времени я был перегружен прозаическими обработками и только теперь заканчиваю их. Намерен был тотчас же приняться за Важа Пшавела, но теперь, в связи с этой срочной затеей, перевод «Алуды Кетелаури» несколько затягивается. Прошу Вас сообщить, к какому времени он Вам нужен. И что Вы находите нужным делать в первую голову.

Числа восьмого или десятого я выезжаю на Украину, где живет моя семья. Я устроил себе дачку на берегу Днепра, за Каневым, в живописном благодатном местечке, которое описано у Гоголя в «Вие». Там, на кладбище, и сейчас стоит полуразрушенная деревянная церковка, в которой Хома Брут читал псалтырь по убитой ведьмочке.

Прошу Вас написать мне по адресу: УССР, Киевская область, Золотоноша, почтовое отделение Прохоровка, дом Кронберга, мне. Я буду там до самого сентября и приеду в Тифлис, не заезжая в Ленинград.

И еще есть за Вами должок: обещали прислать мне подстрочник и транскрипцию Вашего стихотворения, названия которого я не знаю, но которое Вы читали мне и которое, вероятно, помните. Я бы хотел попытаться перевести эту прекрасную, трогательную вещь. Или, может быть, мы в сентябре договоримся об этом, так как подстрочник требуется очень подробный и с авторскими комментариями.

В начале октября я вернусь в Ленинград.

Вот краткий отчет о моих планах на лето и на весь будущий год. Очень прошу Вас, напишите, как Вы ко всему этому относитесь.

Передайте мой сердечный привет Нине Александровне.

Ваш Н. Заболоцкий».

«2 августа 1936 г.

Прохоровка

Дорогой Тициан Иустинович!

Благодарю Вас за письмо; я получил его своевременно, и оно меня обрадовало. Я, признаться, одно время думал, что переделка для детей не может заинтересовать публику: мы еще не привыкли по-настоящему учитывать интересы массового читателя. Но ведь Руставели написал народную вещь, в Грузии она известна всему народу. Значит, и в русском пе-

реводе мы должны постараться довести ее до широких масс читателей, а это возможно, к сожалению, только при помощи обработки, так как полный перевод по многим понятным причинам до массового русского читателя не дойдет. После Вашего письма я спокоен. Если специалисты по Руставели мне помогут, я надеюсь справиться с работой в один год.

Что касается материальной стороны, то я имею договор с Ленинградским отделением Детиздата, где я работаю давно. Ваша мысль относительно Гр. Ев. Цыпина — превосходна. Я с ним в самых лучших отношениях. Он знает меня еще с тех пор, как работал в «Известиях» и печатал там мои стихи. Вероятно, он с большой охотой взялся бы за это дело, но меня, признаться, очень угнетает мысль о постоянных поездках в Москву, и я решил заключить договор в Ленинграде. Там пошли на мои условия и обещали просить Н. С. Тихонова быть редактором этой книги. Сам Н. С. сейчас на Кавказе, и я с ним не успел переговорить лично.

«Алуду Кетелаури» я буду переводить зимой, параллельно с Руставели. В Тифлисе мы поговорим об этом подробнее. У меня нет транскрипции этой вещи, кроме того, нужно устроиться с консультацией. Впрочем, это, вероятно, можно устроить и в Ленинграде с помощью Е. Б. Вирсаладзе, которая помогала мне, когда я переводил поэму Орбелиани.

Ваши новые стихи очень хороши, это чувствуется и по подстрочнику. Я сразу стал переводить их и вот посылаю Вам два перевода: «В ущелье Арагвы» и «Рождение слова». Это не окончательные тексты, тем более, что некоторые строчки для меня и до сих пор темноваты, и я слишком свободно перевел их. Вообще, как Вы видите, переводы довольно свободные. Я очень страшусь пунктуальной передачи смысла в том случае, если это звучит в русском стихе нарочито и неестественно. Я стремлюсь к тому, чтобы перевод звучал как оригинальное стихотворение. Это не значит, конечно, что я допускаю искажение смысла. Я стараюсь интерпретировать смысл в том случае, когда это требуется для легкости и ясности стиха. В Ваших стихах пленяет меня удивительная близость душевного мира к миру природы. У Вас эти два мира сливаются в одно неразрывное целое — и это для нашего времени явление редчайшее. Среди современных русских поэтов природу любят и чувствуют лишь очень немногие... Такое гармоничное и естественное слияние душевного мира с природой, какое я вижу по Вашим стихам, я не встречал еще ни у кого. Оно, конечно,

есть результат долгой поэтической работы — результат, о котором молодые поэты могут только мечтать.

Я Вас прошу, Тициан Иустинович, отметить в моих переводах все те места, которые требуют исправлений. Их есть несколько, и некоторые я уже знаю. В Тифлисе я постараюсь выправить переводы.

Что касается стихотворения «Ананури», то я перевел его неудачно и буду переводить (позже) снова, когда несколько позабудется первый перевод. Кроме того, мне еще нужно посоветоваться с Вами и относительно некоторых темных мест подстрочника.

В Тифлисе я буду в первых числах сентября.

Ваш Н. Заболоцкий».

Он приехал, как обещал, и около месяца прожил в Тбилиси: Новые встречи и совместные поездки по Грузии еще больше сблизили его с грузинскими друзьями. Николай Заболоцкий все больше и больше привязывался к Грузии.

Его возили в Кахети, в Цинандали.

Когда мы приехали в Цинандали, Коля вдруг куда-то пропал. Оказалось, он и его спутники решили заехать в Патардзеули — посмотреть дом Георгия Леонидзе. Вернулся он оттуда очень веселый и довольный.

Потом Симон Чиковани возил его в Картли — в результате этой поездки была написана «Горийская симфония» и другие стихи.

27 сентября 1936 года мы поехали в Алаверди: Симон Чиковани и Леонидзе с женами, Верико Анджапаридзе и Леля Канчели, прелестная и умная женщина, очаровавшая Тынянова и Каверина, Ната Вачнадзе с мужем, певица Кето Джапаридзе с мужем, а также Заболоцкий и Бажан.

Поездка была с множеством приключений.

Добравшись до Уджармы, мы увидели, что по широко разлившейся Иори сплавляют лес. Наш автобус все-таки въехал в воду, рискуя перевернуться от ударов бревен, — и застрял посередине реки. Бревна бились о машину, это было опасно, тогда Коля Шенгелая, а за ним и другие мужчины разделись и попрыгали в воду, чтобы отталкивать лес от машины. Наконец автобус двинулся с места.

Тициан тоже стоял в воде, опираясь на палку: вода вымыла из-под палки песок и Тициан упал. Его с трудом втащили в автобус. Тициан был страшно сконфужен, но когда я

спросила его, зачем он в воду полез: понимал ведь, что с брызгами ему не сладить, — он сказал, что было бы вовсе стыдно и неудобно сидеть в машине, когда все были в воде.

— Не мог же я сидеть сложа руки, когда другие что-то делают. Не помог, так хоть мок вместе со всеми!

В этих словах он весь — неловкий, подчас и беспомощный, но готовый всегда, без раздумья броситься на помощь друзьям.

Вскоре наш автобус выбрался на дорогу.

Мы въехали в гомборский лес, было темно, только фары машины освещали дорогу. Наконец мы заметили огонек.

Коля Шенгелая и Дарико Церетели пошли на огонек — освещенное окно какого-то домика, подобрался к нему тихонько и заглянули внутрь.

Возле огня сидел старик.

Они постучались.

Старик оказался гостеприимным человеком. Он пригласил всех в дом. В камине трещали сухие поленья. Старик принес кукурузной соломы и постелил нам, потом сварил большой котелок картошки, которую мы, проголодавшись за день, ели с большим удовольствием. После ужина все легли на солому и спали до утра. Утром старик опять угостил нас картошкой с солью, мы поели и двинулись к Алаверди.

Когда мы приехали в Алаверди, уже начался разъезд.

Одна за другой двигались мимо нас арбы с ковровыми навесами. Посреди монастырского двора сидел какой-то шарманщик и с ним его друг. Перед ними стоял глиняный кувшин с вином и доверху налитый стакан. Они угощали всех проходящих мимо.

Нам накрыли большой стол под навесом.

И тут началось соревнование, кто лучше прочтет стихи. Едва один кончал читать, как вскакивал другой. Читали свои стихи и чужие.

Паоло огласил на весь церковный двор певучие стихи Бальмонта: «Узнаю коней ретивых...» и «Я на башню всходил...»

Встал Бажан и прочел в своем переводе на украинский язык отрывок из поэмы Шота Руставели — это вызвало бурю аплодисментов.

На другом конце стола поднялся Заболоцкий — прочитал по-русски Орбелиани, и снова взрыв — восторг, аплодисменты!

Верико вскочила и стала читать отрывок из «Ангела на коне» Тициана, потом — «Циру» Симона Чиковани.

Георгий Леонидзе тоже прочел стихи.

А после увлекательного, темпераментного танца Верико и Наты Вачнадзе казалось, что горы — и те не смогут жаться от восторга.

Тициан прочитал Тютчева.

Так до вечера читали стихи, говорили о поэзии, о красоте кахетинской природы, о дружбе, о любви, о необходимости взаимных переводов, чтобы русский народ знал и грузинскую и украинскую поэзию, а грузинский — русскую и украинскую...

Приехали в Тбилиси усталые, но очень довольные.

Наша дружба с Заболоцким укрепилась. Тициан счел его ценил и как поэта и как человека. Его пленяло исключительное, чуткое и глубокое понимание Заболоцким стихов. Поэтому так ценил Тициан и его переводы.

Об отношении Заболоцкого к Тициану лучше всего говорят его письма.

«15 октября 1936 г.

Ленинград

Дорогой Тициан Иустинович!

Из холодного, сырого Ленинграда, уже залепленный мокрым снегом и продрогший от холода, но с головой, полной грузинских впечатлений и чудесных воспоминаний о юге, — спешу еще раз, теперь уже письмом, поблагодарить Вас за этот месяц, за наши поездки, за наши пирушки, за все Ваши хлопоты и заботы обо мне. Я никогда не забуду этот тифлисский месяц, и воспоминание о нем будет лучшим воспоминанием в моей жизни...

В Москву я не заехал, вернее, не остановился в ней. Придется ехать туда в скором времени, вероятно, через неделю — для разговора с Цыпиным и Гольцевым.

Здесь, в Ленинграде, мои дела идут нормально. Сегодня в Детиздате мой доклад о поездке и о Руставели.

Дорогой Тициан Иустинович, прошу Вас не забыть выслать мне рукопись «Абесалом и Этери». Кроме того, Нина Александровна обещала выслать подстрочники детских вещей. Буду ждать их.

Твердо надеюсь, что этой зимой мы встретимся в Ленинграде. Прошу о приезде сообщить телеграммой, чтобы мы могли встретить Вас на вокзале. А до этого времени, надеюсь, Вы

черкнете мне два слова о Ваших делах, о Тбилиси, о наших
общих друзьях.

Будьте здоровы. Еще раз благодарю Вас за радушие и
степриимство.

Ваш Н. Заболоцкий».

«14 ноября 1936 г.
Ленинград

Дорогой Тициан Иустинович!

Благодарю Вас за письмо от 27 октября и подстрочник
«Абесалом и Этери».

Посылаю Вам «Горийскую симфонию», мою новую вещь
— на грузинскую тему. Одновременно посылаю ее Живову с
просьбой напечатать перед съездом Советов. Напечатают ли —
не знаю, но Вас прошу прочесть ее, ибо она стносится к моим
грузинским друзьям — к Вам в первую очередь. Я хотел
бы получить Ваш отзыв о ней. Ради бога, сообщите — нет
ли каких-нибудь местных неточностей и пр.

В Москве я еще не был и с Цыпиным не говорил, наде-
юсь быть скоро. Переводы Ваших стихов вышлю на днях.
«Абесалома и Этери» перевожу понемножку.

Дорогой Тициан Иустинович, простите за разбросанное
письмо — поздно, устал, и в голове шумит — засиделся с
работой.

Передайте мой привет Нине Александровне и Ниточке.

Будьте здоровы.

Жду Вашу книжку! И, пожалуйста, напишите — как моя
«Симфония»?

Ваш Н. Заболоцкий.

P. S. Список стихов посылаю также С. Чиковани.

О «Венчании плодами»: это стихотворение было напеча-
тано в «Литературном современнике» за 1933 год, посылаю
вырезку».

«14 декабря 1936 г.

Дорогой Тициан Иустинович!

Посылаю Вам перевод «Алуды Кетелаури» Важа Пшаве-
ла. Одновременно посылаю его В. В. Гольцеву. Белый стих,
которым написан перевод, по моему мнению, в наибольшей сте-
пени соответствует поэтике Важа Пшавела, столь близкой к
народному творчеству. О качестве перевода сам судить не бе-
русь. На всякий случай проверял его здесь, в Ленинграде.

на довольно многочисленной аудитории, и отзывы получил самые благоприятные. Прошу Вас просмотреть перевод и сообщить мне о всех недочетах, дабы я мог их исправить временно. Также прошу сообщить Ваше заключение В. В. Гольцеву...

Послезавтра у меня здесь в Доме Маяковского большой вечер, где обсуждать мою работу будет весь город. Идут разговоры о книжке, но все это впереди.

Все жду и жду Вашей книжки обещанной, дорогой Тициан Иустинович! Пока я ездил, она быстро промелькнула в Ленинграде и тотчас была раскуплена, так что я уже не достал ее. Если получите, вышлите бога ради. Очень хочется почитать Вас не торопясь, на досуге, с чувством и с толком.

Когда же Вы к нам приедете?..

Передайте мой сердечный привет Нине Александровне, Ниточке. Приветствуйте С. Чиковани, Г. Леонидзе, П. Яшвили, И. Мосашвили, А. Кутатели и всех друзей и знакомых. Часто вспоминаю Грузию и радуюсь, что у вас в Тбилиси завязалось у меня столько милых знакомств с людьми, уже дорогими и близкими моему сердцу. Жду Вашего письма. Над чем сейчас работаете и каковы Ваши планы? Будьте здоровы...»

«11 января 1937 г.

Ленинград

Дорогой Тициан Иустинович!

Простите меня, ради бога, за то, что не ответил на Вашу новогоднюю телеграмму; не ответил по глупейшей причине: перед Новым годом и после него в течение нескольких дней невозможно было пробиться к телеграфу: народ совершенно ошалел и стоял со своими телеграммами сплошной стеной.

Итак, примите мои запоздалые поздравления и дружеские пожелания здоровья, удач и веселья в этом году.

Сегодня получил Ваше письмо от 6 января. Очень рад, что перевод В. Пшавела Вы находите удачным. Очень благоприятный отзыв получен также от В. В. Гольцева, который перевод принял для своего альманаха. В переводе будет несколько небольших исправлений... Эти исправления я вышлю Вам в непродолжительном времени. Очень рад также и тому, что перевод Орбелиани, судя по Вашим словам, устраивается в Закгизе.

В течение последних дней читал Вашу книгу «Избранное», которую смог достать только из библиотеки (Ваш экземпляр

еще не получил; вероятно, получу на днях; заранее благодарю Вас за него). Несмотря на то, что почти все эти переводы были мне известны поодиночке, должен сказать, что ранние вместе, они прекрасно дополняют друг друга, и читатель, несмотря на некоторый разнотон в голосе переводчиков, имеет возможность наконец почувствовать Тициана Табидзе целиком, убедиться, что автор, благодаря своей яркой творческой индивидуальности, в основном проходит через этот разнотон невредимым, что дается, увы, только очень-очень немногим.

У Вас есть какая-то пленительная чистота лирического голоса, душевность его и очень широкий диапазон; конечно, Вы — один из самых крупнейших поэтов нашего Союза, и я очень горжусь Вашей дружбой; она побуждает меня к постоянной и упорной работе. Ваше малейшее одобрение и сочувствие значит для меня много, ибо оно исходит от человека с непогрешимым вкусом и истинно поэтической душой.

Нравится мне также и внешность книжки: она отпечатана очень чисто, бумага прекрасная, переплет хорош; если Ваша следующая книга (по-русски) будет еще удачнее, — Вам обеспечено глубокое и прочное внедрение в русские читательские массы.

Должен сказать Вам по секрету (чтобы не сглазить), что и у меня с книжкой стихов начинается что-то такое получаться...

Я занят массой привходящих окололитературных дел и, признаться, за последнее время несколько отбилась от работы. «Абесалом и Этери» очень меня беспокоит. Руставели висит над головой и времени для другого перевода почти не остается. Научите, как быть, Тициан Иустинович!

От Цыпина вчера получена следующая телеграмма: «Получено письмо Табидзе переводе Вами грузинской легенды. Сообщите когда можете представить перевод». Я предлагаю послать ему перевод В. Пшавела; если Цыпин сумеет договориться с Лупполом, он может издать В. Пшавела отдельной книжкой.

С нетерпением ждем Вас в Ленинграде; здесь у Вас так много друзей и искренних ценителей. Приезжайте же скорее!

Передайте мой сердечный привет Нине Александровне и дочке. Миколу Платоновичу кланяйтесь, пишу ему одновременно. Привет всем друзьям и знакомым.

Ваш Н. Заболоцкий».

Окончание следует

ГОРДОСТЬ ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ

В ТБИЛИССКОМ академическом театре оперы и балета им. Захария Палиашвили состоялся юбилейный вечер, посвященный 80-летию Симона Чиковани.

В президиуме товарищи Э. А. Шеварднадзе, Г. Д. Габуня, П. Г. Гиладзе, Г. Н. Енукидзе, Д. Л. Картвелишвили, Д. И. Патиашвили, О. Е. Черкезия, Т. И. Мосашвили, Ж. К. Шартава, члены юбилейной комиссии, гости, грузинские писатели и поэты.

«Все, кому посчастливилось пожимать дружескую руку Симона Чиковани, приобщиться к его поэзии, — сказал, открывая вечер, председатель правления Союза писателей Грузии, лауреат Ленинской премии Н. Думбадзе, — хорошо помнят свойства души поэта — трепетную восприимчивость к каждому живому творческому веянию, расположенность к добру, чуткое внимание, котрым он окружал людей и особенно молодежь... Глубоко образованный и эрудированный человек, он в равной степени был пытливым литературным исследователем, ученым, общественным деятелем, отличным редактором и издателем. Но жизнь, литературная практика доказали, что в первую очередь С. Чиковани был выдающимся поэтом, гордостью и украшением грузинской советской литературы».

Слово о поэте произнес главный редактор журнала «Мнатоби», лауреат премии им. Руставели А. Сулакаури.

На вечере также выступили поэтесса А. Каландадзе, лауреат премии им. Руставели писатель Р. Джапаридзе, председатель правления Союза писателей Абхазии, лауреат премии им. Руставели М. Ласурия, министр культуры Грузии С. Бадурашвили, ответственный секретарь Юго-Осетинского отделения Союза писателей Грузии К. Маргиев, народный художник Грузии, лауреат Государственной премии СССР и премии им. Руставели М. Бердзенишвили, Герой Социалистического Труда, поэт-академик И. Абашидзе, заместитель директора Института истории армянской литературы АН Армянской ССР В. Мнацаканян, лауреат премии им. М. Рильского поэт А. Абасс, председатель Совета по грузинской литературе Союза писателей СССР поэт Е. Евтушенко и другие.

Юбилейный вечер завершился концертом с участием мастеров искусств Грузии, лейтмотивом которого стали поэтические строки Симона Чиковани.

* * *

В этот же день писатели Грузии, гости из Москвы, Армении и Азербайджана возложили цветы на могилу С. Чиковани в Пантеоне писателей и общественных деятелей на Мтацминда.

ФАНТАСТИКА В БОРЬБЕ ЗА МИР

В ТБИЛИСИ завершила работу «Неделя научной фантастики», приуроченная к подведению итогов Всесоюзного конкурса на лучший антивоенный фантастический рассказ, организованного по инициативе литературного объединения «Фазтон», которое функционирует при ДOME работников искусств Грузии.

В Союзе писателей Грузии состоялась встреча участников «Недели научной фантастики», в которой приняли участие председатель правления Союза писателей Грузии Н. Думбадзе, заместитель председателя Совета по приключенческой и научно-фантастической литературе при Союзе писателей СССР Н. Беркова и другие.

В городском молодежном клубе «Амирани» состоялся антивоенный вечер, организованный горкомом комсомола Грузии. Популярными фантастами страны Д. Биленкин, Г. Гуревич и Е. Войскунский ответили на многочисленные вопросы. Старший литсотрудник журнала «Вокруг света» В. Бабенко рассказал о новых тенденциях современной зарубежной фантастики.

В помещении Дома работников искусств Грузии был проведен «круглый стол» на тему «Фантастика в борьбе за мир», в котором приняли участие представители Союза писателей Грузии, Комитета космонавтики Грузинской ССР, литобъединение «Фазтон» и гости из других городов страны.

Участники недели посетили Мцхета, побывали на спектакле Театра марионеток, осмотрели достопримечательности столицы Грузии.

Состоялся торжественный вечер подведения итогов, который вел секретарь правления Союза писателей Грузии Р. Миминошвили.

Победителями были названы: лауреаты первой премии: И. Ревин (Ростов-на-Дону) и Е. и Л. Лукины (Волгоград); лауреаты второй премии: И. Шевченко (Горловка) и В. Тарасов (Калининград); лауреаты третьей премии: В. Петров (Тбилиси) и А. Злотник (Кишинев).

В заключение вечера было зачитано Обращение участников Всесоюзного конкурса на лучший антивоенный научно-фантастический рассказ ко всем молодым писателям страны.

На 1-й стр. обложки: репродукция с картины Н. Пиросмани «Рыбак среди скал».

Сдано в набор 3.IV.84 г. Подписано к печати 8.VI.84 г. Формат 84×108¹/₃₂. Высокая печать. Печ. л. 7,0—усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0. УЭ 08919. Тираж 6.100 экз. Заказ 785. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон 99-06-59.

Главный редактор Т. М. БУАЧИДЗЕ

Редакционная коллегия:

Ч. И. АМИРЭДЖИИ, Э. Г. АНАНИШВИЛИ, Р. Н. АСАЕС, А. Н. БЕСТАВАШВИЛИ, Х. Я. ГАГУА, А. Н. ГОГУА, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, Н. Г. КАРАШВИЛИ (ответственный секретарь), Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, В. Г. МАЧАВАРИАНИ, Я. Ш. СТУРУА, Э. А. ФЕЙГИН, Г. В. ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КМ ГРУЗИИ

Тбилиси, ул. Женина, 14.

